

СЕРГЕЙ
КРАВЧЕНКО



Тайный
Советник
Ивана Грозного



ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЬЯКА
ФЕДОРА
СМИРНОГО

Сергей Кравченко

**Тайный советник Ивана
Грозного. Приключения
дядка Федора Смирного**

«Феникс»

2022

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2=411.2)6-44

Кравченко С. И.

Тайный советник Ивана Грозного. Приключения дьяка Федора
Смирного / С. И. Кравченко — «Феникс», 2022

ISBN 978-5-222-41246-6

Лето 1560 года. Москва. Кремль. Все смешалось в Большом дворце. В тяжком смятении государь наш Иван Васильевич Грозный. Угасает от непонятной болезни царица Анастасия Романовна. Князья точат ножи! В боярстве измена! В книжниках колдовство! В попах ересь! Вы скажете, бред больного властителя? А вот же покушение – прямо в монастыре среди святынь! – это как?! Кто спасет государя? Боярская дума? Стрелецкий полк? Старый митрополит? Может, верный наш народ российский встанет за любимого монарха? Так он первый на подозрении! Остается только взывать к Богу! Да и там нет ответа... А вот мальчишка монастырский неглупые вещи говорит! И как-то проще и легче становится. Отступают призраки. Вражья хитрость рассыпается в прах. Видишь, государь, у кого сила? У простых людей: у верных псарей, у мелких придворных, у мальчишки белобрысого... Иди-ка сюда, парень!.. Так началась удивительная авантюрная многолетняя служба дьяка Большого дворца Федора Смирного...

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2=411.2)6-44

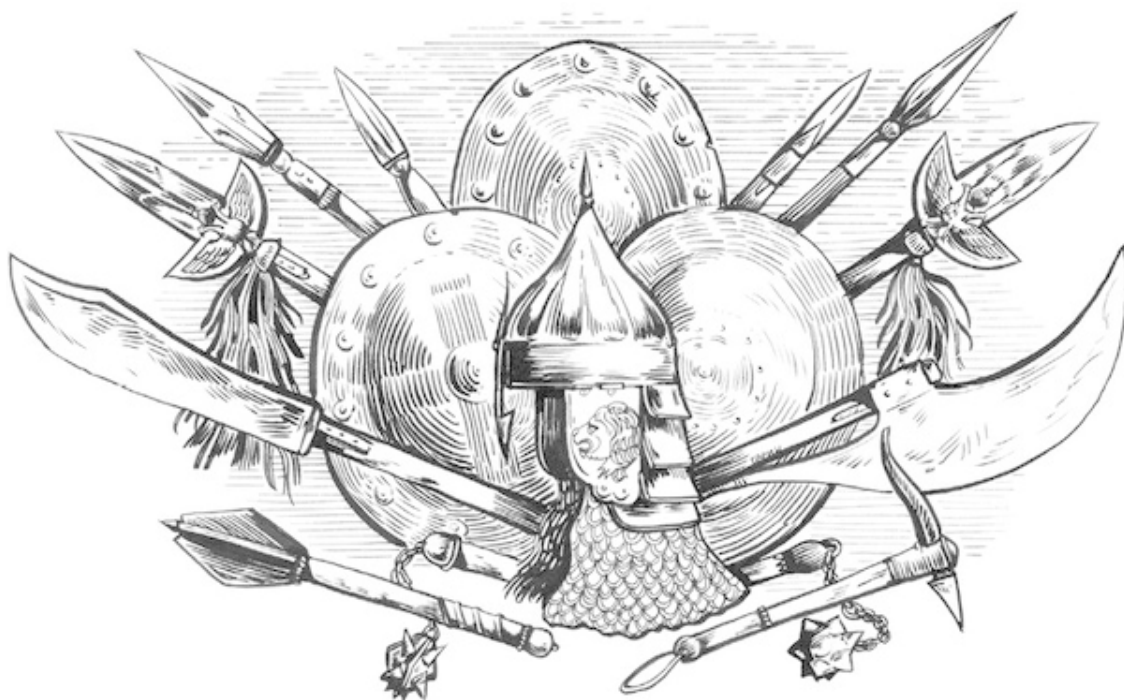
ISBN 978-5-222-41246-6

© Кравченко С. И., 2022

© Феникс, 2022

Содержание

Часть 1. Федор Смирной попадает в историю	6
Часть 2. Две памяти	27
Конец ознакомительного фрагмента.	39



Сергей Иванович Кравченко
Тайный советник Ивана Грозного.
Приключения дьяка Федора Смирного

Некоторые имена, события и названия были придуманы автором для художественного эффекта. Любые совпадения с реально живущими или жившими людьми и фактами из их жизни являются случайными.

© Кравченко С., 2022

© Гарин К.В., ил., 2022

© Оформление: ООО «Феникс», 2023

Ростов-на-Дону

ФЕНИКС

2023

Часть 1. Федор Смирной попадает в историю

Иван Васильевич сидел в Грановитой палате. Две думы насмерть бились в его голове. Одна бесплотно страдала в ужасе от непонятного воскресного происшествия, вопила дурным голосом. Другая молча стояла в уголке и принимала различные телесные формы: представляла то клыкастым монахом, то голой девкой, то обезглавленным стрельцом. В любом облике этой думы присутствовала кровь. Кровь на клыках, на голом теле, на стрельцом кафтане. Хотя на кафтане кровь вроде бы не нужна? Он же и так красный? Для чего мы в красное стрельцов одеваем? Чтоб крови не боялись!

Иван задумался о значении цвета, прищурил правый глаз и обнаружил, что все вокруг стало желтым.

«А! – мелькнуло в голове. – Это свет в басурманском стекле золотится!»

Но солнце уже ушло за Воробьевы горы, сирийские стекла были тусклыми, как всегда в это время и в этой части дворца. Иван открыл правый глаз и прикрыл левый. Вокруг кроваво покраснело. Резкий голос завопил: «Измена! Вору дерзают младенца извести!»

– Какого младенца? – ошарашенно спросил Иван.

– Федора Безгласного! – ответил голос.

– Стража! Стража! – закричал Иван, в ужасе тараща оба глаза.

На крик ввалился начальник Стременного полка стрельцкий голова Сидор Истомин, еще двое в красном и один в черном. Иван прищурил правый глаз, красные кафтаны утратили кровавый оттенок.

– Вору, – в изнеможении выдавил Иван.

– Вот, государь, поймали, – отрапортовал Истомин, вытаскивая из-за стрельцких спин мальчишку в черном подряснике.

Пойманный склонился до пола, потом сел на колени, но смотрел на царя спокойно, открыто. Клыков у него не было.

– Ты кто?

– Сретенского монастыря послушник Федор Смирной.

– Зачем здесь? – Иван не мог вспомнить, где видел этого белобрысого.

– Вели всем выйти, государь.

Иван оторопел, хотел кричать, но глянул на малого, как-то сразу затих и кивнул Истому:

– Ступай, Сидор, да скажи там, что я жалую твой полк двумя бочками вина.

Начальник полка хотел предложить Ивану связать преступника, но осекся, подумал, что ничего страшного, парень хлипкий, и вышел без каблучного стука. Пара стрельцов протопала за ним...

Тут следует вернуться на три дня назад.

С утра 9 июня 1560 года царь Московский и всея Руси Иоанн Васильевич пребывал в переменчивом настроении. Странные, неуловимые сны его после пробуждения продолжились столь же неуловимыми, бессвязными рассуждениями. Но общая мысль их была одна: «Господи, за что?!»

Выходило так, что видения сна теперь повторялись навязчивыми словами, обрывками фраз.

При одевании в глазах царя стояли страшные картины несчастного паломничества 1553 года, в котором скончался маленький сын Дмитрий. Он четко и жутко видел тело ребенка на отмели проклятого Белого озера, кровавая пелена застилала глаза, потом она рассеивалась и проступало безразличное отражение в черной воде крестов Кириллова монастыря.

– За что?! Я же Тебе Казань взял! – крикнул Иван Богу и разорвал ворот рубашки. Спальник в ужасе отскочил в угол. Царь осел на кровать и закрыл глаза. И сразу полезли картины другого, прошлогоднего, паломничества, когда ни с того ни с сего прямо в монастырской церквушке подкосило царицу Настю. Она просто не смогла встать с колен.

– Вот и молись Тебе! – снова закричал Иван в пустоту, и вошедший для благословения духовник царя протопоп Сильвестр слился со стеной и заскользил к двери.

Завтрак, понятное дело, зарядили малым обычаем, но тут вдруг как-то бесчинно подскочил ключник царицы Анисим Петров и осмелился шептать царю на ухо. От этого сразу отпустило, Иван Васильевич посветлел и пробормотал в потолок:

– Вот за это спасибо!

А ключнику бросил: «Зови всех!»

Под «всеми» понимались отец Сильвестр и несколько ближних людей, завсегдаев Большого дворца.

За столом государь объявил благую весть: Божьей милостью младший сын царя князь Федор Иоаннович обрел дар речи и вымолвил некое «слово». Это было чудесно, потому что малютка Федор выглядел нездоровым и за три года жизни не произнес даже «мама». Теперь появилась надежда на исправление малыша.

– Слышь, Анисим, так как он сказал? – лицо Ивана просто сияло.

Анисим, допущенный постоять при царском завтраке, снова склонился к высочайшему уху и выдохнул что-то короткое. Иван засмеялся.

Стали выпивать, закусывать, веселиться. Царь рассуждал вслух, что неплохо бы посетить какой-нибудь ближний монастырь. Потом предложил застольным боярам устроить смотр войск, отправляемых на Ливонскую границу. Бояре были не против. Один только Сильвестр начал ерзать, не донес кусок белуги куда следует.

Сильвестру остро не нравилась Ливонская война. Он полагал, что истребление христиан, хоть и католиков, менее угодно Богу, чем, например, освобождение Крыма от разбойничьих татарских поселений. Тем более не следовало напоминать Господу о кровавой войне среди молитв о благополучии маленького князя.

Но Ивана уже нельзя было отвратить от парада. В глазах его сверкали алебарды, в ушах визжали рожки и били бубны.

Сильвестр по обыкновению надулся. Раньше это мистически действовало на царя. Он очень ревниво относился к благословенности своих дел, зная неблагословенность плотских помыслов. Но сегодня был особенный день. Хотелось всеобщего удовольствия, единомыслия, ликования и умиротворения.

Власть Сильвестра больше не казалась безвыходной. Иван помнил, как после взятия Казани в 1553 году Господь ниспослал ему прозрение. Тогда Иван слег от нервного перенапряжения, и все подумали, что умрет. И сразу вскрылась измена. Двоюродный брат князь Владимир Андреевич Старицкий заявил претензию на трон. Он отказался присягать наследнику младенцу Дмитрию, а присяги родному брату царя – безумному Юрию – с него и не требовали. Боярство раскололось на две партии, пошли совещания, начались прямые стычки у ложа умирающего. Дело доходило до плевков и толкотни. Одни не хотели присягать младенцу Анастасии – их воротило от мысли оказаться под регентством ее братьев – бояр Захарьиных-Кошкиных. Другие, наоборот, опасались растерять привилегии, нажитые при дворе и связанные с партией царицы. Иван с досадой поглядывал на ссору придворных. Особенно больно било каменное молчание Сильвестра. Духовный отец, так долго наставлявший, учивший различать добро и зло, теперь затаился, ждал, чья возьмет. Выходило, его не беспокоит судьба наследников и царицы, не тревожит предсмертный зуд Ивановой души...

Потом донесли, что больше всех мутили воду в пользу Старицкого как раз люди Сильвестра, призванные ко двору, поднятые по службе. Прямых доказательств измены не нашлось,

но подозрение Иван затаил. Вернее, не он его затаил – оно само затаилось. Не все настроения властелина поддавались самодержавному управлению.

И вот теперь Сильвестр хмурился, был готов противоречить даже в такой день. Он должен бы первый радоваться доброй вести! Нет, скорбит о ливонских католиках!

Иван начал гневаться. Горячая волна поднялась у него откуда-то снизу, от желудка, огнем прошла под ребрами, бешеной жилкой запульсировала в горле, застучала в виски.

Но тут солнечный луч отразился от золотого купола колокольни, прострелил желтое сирийское стекло в свинцовом переплете и упал на грудь сварливого протопопа. Там солнечный зайчик замер на панагии – эмалевой подвеске с иконкой, высветил лик Христа.

Иван засмеялся, от сердца отлегло. Остальные участники завтрака тоже увидели освещенного Спаса и хоть не поняли, что тут смешного, но захихикали дробным льстивым хором.

– Ты бы, святой отец, лучше небесным откровением занялся, чем нас на Крым поворачивать. Нам сейчас из Москвы нельзя отлучаться.

– Каким откровением? – опешил Сильвестр. Он один не видел солнечного блика, но думал как раз о крымских и ливонских делах.

– А вот, гляди-ка, свет Божий, пройдя сквозь басурманское стекло, не испортился, не опоганился, а Спаса осветил! А ты не хотел стекла менять! Не скажешь, отчего такое чудо?

Тут застольные перестали улыбаться: чудо – дело серьезное!

Сильвестр увидел свет на панагии, замер, чтоб не спугнуть зайчика, но молчал.

– А оттого нам это видение, – довольно рассуждал Иван, – что сарацины – твари смертные, а песок Палестины, из которого они стекла льют, – вечен! Видать, в стекло попала песчинка, на которую сам Христос наступал!

Компания перестала жевать и забыла дышать.

– На все воля Божья, – выдавил Сильвестр сквозь непрожеванную белугу.

Решили угодить всем – ради Христа, заговенья Петрова, воскресного дня и царской радости. Было объявлено посещение ближнего монастыря, какой укажет Сильвестр, потом смотр войскам, потом большое застолье в честь Федора Иоанновича. Порядок мероприятий определялся не прихотью царя, а реальным положением дел:

– в монастырь можно нагреть без подготовки,

– войска к походу готовы, но к смотру – не совсем,

– обед по большому обычаю и вовсе требует серьезной проработки; каждое блюдо из сорока перемен следует сварить, изжарить, сервировать, испробовать на вкус и яд, подать точно в срок.

Стали собираться в Сретенский монастырь.

* * *

Посыльный от Сильвестра опередил царский выезд на час, известил игумена Сретенки о нечаянной радости, монахи забегали, засуетились, стали наводить показной порядок. Послушников выгнали вместе с чернецами подметать и украшать, потом велели переодеться и строиться к встрече.

Федя Смирной, сирота 18 лет, из московских жильцов, стоял в первом ряду с блюдом для даров. Федю часто назначали к дарам: очень красиво смотрелись его светлые волосы на черном подряснике и при серебряном блюде. Друзья Архип и Данила беззлобно называли его «ублюдком», но Федя не обижался. Если рассуждать здраво, ублюдок – лучше, чем сирота.

Погода стояла прекрасная. Лето началось без жары – буйной зеленью и мягким теплом. Солнце освещало новые тесовые крыши монастырских построек, они казались золотыми, сливались с церковными куполами. Все было готово, но царь не ехал. Федя стал разглядывать окружающих.

Вот игумен отец Савва. Телом толстый, лицом худой, добрый, но нервный. Добывает Савву московская жизнь. Тяжко ему после Волоколамского монастыря.

Вот кот Илларион – важно шествует по свободному пространству, очищенному для царской кареты. Он тоже толстый, но спокойный – с умиротворенным лицом, то есть мордой. Вот таким надлежит быть игумену – величавым, размеренным в движениях и мыслях.

На самом деле кота звать Истома, но отец Савва запретил языческое имя в святых стенах, и пришлось кота крестить. Три дня назад, 6 июня, был день Иллариона. Федя, Архип и Данила подманили Истома на рыбью головку и совершили тайный обряд крещения Божьей твари, окунали кота в купель, заносили в алтарь под «епитрахилью» – старым полотенцем. Правда, кот купели не принял, орал и царапался, деревянный крестик с шеи сорвал лапой, крестным знаменем пренебрегал, отговариваясь неловкостью двуперстного сложения. И на имя Илларион демонстративно не отзывался...

А вон передовой отряд стрельцов. Полдюжины крепышей в ярких, только что пошитых кафтанах. Все на них новое, сапоги блестят, держак бердышей начищены, будто с утра выстреляны. Эти в Ливонию не пойдут, в Москве пригреблись, как Истома. Выстроились вдоль стены справа и слева от ворот. Почему-то нервничают.

А вот и движение началось. Ворота открылись как бы сами собой, худые тени монахов метнулись в разные стороны, неурочно ударил большой колокол, грянули хором все прочие. Отец Савва поморщился: никак не удавалось добиться от звонаря правильного колокольного строя.

Первым влетел на монастырскую площадь конный отрок из дворцовой охраны. Вздрыбил коня, напылил, зыркнул по сторонам, выскочил наружу. И сразу затоптали десятки тяжелых сапог – слышно было даже сквозь колокольную неразбериху. Пешие стрельцы Стременного полка – числом до полусотни – вбежали во двор, окольцевали пустую середину, потеснили монахов, воскресных прихожан, прочих монастырских обитателей. Стрелецкий голова подскокил к Савве, что-то спросил, выслушал ответ, кивнул, что-то сказал, еще раз кивнул, отдал команду ближним бойцам. Красное кольцо разомкнулось, сомкнулось вновь, и Савва, старцы, Федя с блюдом оказались внутри оцепления.

Застучали копыта, несколько всадников влетели в проем ворот, следом по доскам прогрохотали кареты.

«Спешит государь, – подумал Федя, – если б не спешил, пришел бы пешком. По такой погоде мог и босиком в рясе пожаловать. Набожен отец, богобоязнен».

Иван Васильевич бодро выпрыгнул из крытого возка, обитого кожей, приосанился, привел думы в надлежащее состояние. В дороге – а тут и версты нет – думал о жизни грешной.

Царь был крепкий, высокий, склонный к полноте мужчина с редковатыми, но великолепными черными кудрями, ухоженной бородой с рыжеватыми прядями, с пронизательными голубыми глазами. Иван Васильевич вызывал ощущение силы, уверенности в завтрашнем дне, надежности бытия. Поговаривали, правда, о его крутом нраве, грубых выходках, плотских грехах. Но кто безгрешен в 30 лет? Посреди мира? На вершине власти и славы?

Вслед за Иваном из кареты кряхтя вылез протопоп Сильвестр, оглядел собравшихся, довольно кивнул. Сильвестр был знатоком монастырского распорядка, наизусть знал Номоканон – сборник духовных и мирских правил, сам писал наставления.

Благословясь у игумена, царь громко сказал ласковое слово, начал широко креститься на четыре стороны, поворачиваясь всем телом, кланяясь в пояс. Совершив полный оборот, еще раз поклонился Сретенской церкви, на мгновение замер в поклоне...

Дальше ему полагалось распрямиться, принять царственную осанку, подойти к дарам и во главе процессии следовать в церковь на службу. После службы должна была состояться легкая трапеза – именно на ее запах проследовал кот Истома. Но ничего этого не случилось.

То, что произошло за малое время выхода из поклона, стало страшной неприятностью для монастыря, стрельцкой охраны, лично начальника полка. И большой досадой для отца Сильвестра.

Воспитанник Сретенки сирота Федор Смирной уронил на землю блюдо с дарами, толкнул локтем отца Савву и бросился к царю, раскинув руки. Так кот Истома бросался на хвост селедки, подвешенный в трапезной.

Колокола смолкли при выходе царя из кареты, поэтому собравшиеся слышали писк Феде, ухваченного за шиворот боевой рукавицей. Федя рванулся, ряса лопнула, путь был свободен, но тут мелькнула сталь бердыша и пригвоздила подол рясы к земле. Федя рухнул к ногам Ивана, протянул вперед руки, поднял глаза и увидел побледневшее лицо, трясущуюся бороду, казавшуюся совсем черной.

«Слово и дело...» – успел прохрипеть Федя под телами двух стрельцов. Его подняли и отволокли в сторонку.



Иван продолжал стоять в оцепенении, его лицо сменило цвет со смертельно-белого на красный. Потом снова стало нормальным.

Царь отмахнулся от Саввы и Сильвестра, прыгнул в карету и умчался восвояси. А Федю без расспросов завалили в телегу и доставили в Кремль. Там его затолкали в грязную яму на вытопанной сторожевой площадке и прикрыли дощатым щитом.

«Почему сразу не убили? – думал Федя. – А! Понятно. Будут пытать, спрашивать, кто подучил».

* * *

Три дня прошли в духоте, жажде, полуголодном сне. Кормили дрянью.

Но сегодня вокруг ямы возникло оживление. В течение дня сторожевые несколько раз вступали с кем-то в разговоры – Федору показалось, с начальством. Дело идет к развязке, решил Смирной.

И правда, не успело солнце уйти из щели, как крышка отвалилась и волосатая лапа вытащила Федора на свет Божий. Два стрельца в вонючих сапогах проводили пленника в темноватое помещение под дворцом.

И вот теперь Федя сидел и ждал приема у государя Иоанна Васильевича. Что это именно царь лично пожелал видеть вора, громко перешептывались стрельцы. В другой раз московские обыватели позавидовали бы Федору – мало кто мог похвастать беседой с великим самодержцем. Но сегодня у Феде не было завистников. Приглашали его не пиво пить...

Надо сказать, вид у Феде был не очень подходящий для царской аудиенции – лицо разбито в кровь. Пятна на подряснике уже запеклись и не слишком бросались в глаза, но все равно портили общий вид. Особенно некрасиво выходило сзади: подрясник, разорванный от ворота до пояса, обнажал полотняную рубаху, вывалянную в грязи и дворовой дряни.

Глаза постепенно привыкали к полумраку, а нос уже подсказывал: «Не пыточная!» Пытка должна была пропитать стены паленой щетиной.

Ухо тоже хотело сообщить что-нибудь обнадеживающее – вот хотя бы звон шпор – палачи в шпорах не ходят! – но тут в ухе что-то взорвалось, ударил большой Сретенский колокол, взвыл кот Истома. В глазах сверкнули звездочки, и стало светлее.

Перед Федором стоял давешний стреленной голова, но с кошачьей головой. Он гневно разевал усатый рот.

«За что Истома здесь?» – подумал Федя.

Кот пару раз мяукнул и спросил человеческим голосом: «Ты на кого, сученыш, посягал?!»

Далее выяснилось, что в прошлое воскресенье в Сретенском монастыре, среди Божьей благодати и при ясном солнце, было совершено дерзкое покушение на жизнь грозного и милостивого царя нашего Иоанна Васильевича. Вородиночка Федька Смирной намеревался задушить великого монарха голыми руками, изрыгал проклятья, осквернил церковные святыни, смешал с прахом Тело Христово и Кровь Его.

За все это надо было Федьку на месте растерзать, но государь в безмерном человеколюбии велел вора допросить. Так давай, вор, кайся!

Федор осмотрелся привычными к темноте глазами. В очаге не было раскаленных инструментов. Огонь тоже не горел.

На перетлевших углях стояли ношенные сапоги. Стрелецкий голова больше в ухо не бил.

«Значит, велено спрашивать осторожно. Значит, царь услышал „слово и дело“». Федя сделал добродушное лицо и униженно попросил господина начальника развязать руки для крестного знамения.

Развязали!

Федя спокойно перекрестился, проплямкал губами молитву, очи возвел под закопченный потолок. Сказал, что заговор был, и было покушение от неких сил зла, и есть великая тайна,

которую, увы, при всем уважении к господину голове сообщить вслух нельзя. Вернее, можно, но не ему, а самому государю. Да, руки можете сковать. Глаза завязать. Нет, уши резать не стоит – как услышишь вопросы?

Начальник полка убыл без очередной оплеухи. Потом вернулся совершенно озадаченный. Так Истома возвращался с монастырской поварни в дни Великого поста.

Федора повели в белую гридницу – приличное помещение для дежурного стрелецкого наряда. При этом не толкали, не били, не называли вором, а наоборот, отряхивали со спины солому.

Теперь Федя сидел на лавке под стеночкой, а стрелецкий голова мягко ходил вокруг по широкой дуге.

«Умыть ли? – думал Истомин. – Уместен ли столь убогий вид пред царским ликом? Но с другой стороны – вор! Битая воровская морда – знак усердия караула. Мы ж ему не сказки сказывать должны с манной кашкой!..»

Тут на входе появилась округлая фигура посыльного – дворцового подьячего Прошки. Начальник караула принял напряженную стойку.

– Господина Истомина к государю с пленником! – крикнул царский человек, и Федю подкосило. «Истомин!» Истерический, лихорадочный смех разрывал легкие, лицо налилось кровью, тело стало валиться на лавку. Федя держался из последних сил, но не вынес этой единственной на сегодня пытки. Всклипнул, зашелся хохотом. Из глаз брызнули слезы.

– Ты это, парень... ты чего? – стрелецкий голова озабоченно хмурился. – Не бойсь, даст Бог, жив будешь. Ну, отрежут тебе уши, загонят в Пустозерск, и так и эдак – монастырь!

Истомин вытащил из волос Феде последнюю соломинку и пошел за Прошкой. Следом бережно повели Федора. Охраны было только двое стрельцов, причем один из них – сотник.

* * *

– Так как, говоришь, тебя звать? – Грозный посмотрел на Федю пустым взглядом.

– Федор.

«Федя Феде не злодей!» – пискнула в голове царя дерзкая мышь и выскочила из ушной норки. Иван брезгливо стряхнул ее с плеча.

Царь велел Федору говорить и с удивлением узнал, что в Сретенском монастыре некие лихие люди замыслили его убить. Ощущение личной опасности привело Ивана в чувство. Он подобрался, в голове стало ясно, мысли выстроились в четкую вереницу, как придворные у присяги. Оба глаза давали одинаковый цвет.

Личный страх не так пугал и расстраивал царя, как страх за близких. Он и страхом-то оставался, пока неизвестно было, откуда грозит опасность. А теперь, когда сирота рассказал о шести ворах, ряженных в стрелецкие кафтаны, Грозный почувствовал азартное удовольствие.

– Так, говоришь, держак у бердышей были сосновые?

– Сосновые, государь. И кожа на перевязях нетерта.

– А чего ж ты сразу караул не кричал?

– Я думал. Не верилось, что чужие люди могут вот так просто, среди бела дня нарядиться стрельцами, с оружием войти в обитель, стоять у царя за спиной.

У Ивана побежали мурашки.

– Они сразу приблизились?

– Нет. Сначала прислонились под стеной. Потом, когда стража твою повозку пропустила и кольцо замкнуть промешкала, они в кольцо встали. Стременные на них поглядели, но потом смотрели только на тебя. Когда ты пятое знамение налагал, они двинулись средним шагом.

– А ты?

– Я подумал, что нужно как-то оживить стреманных.

– И оживил?

– Да, только опасно вышло. Стременные на меня навалились, стали юродивых отгонять, а вам спину не прикрыли. Хорошо, ряженые испугались, побежали за общежительные кельи.

– В монастыре измена?!

– Нет, государь. Там у нас лаз под стеной – на улицу. Всем известно.

Царь хотел отпустить Федора, но возникли новые вопросы. Иван продолжал расспрашивать о монастырских обывателях, о посторонних, о порядке и не видал ли Федор чего подозрительного.

Солнце совсем село. Спальник не решался прервать царскую беседу и зажечь свечи. Оставлять повелителя в темноте с оглашенным вором он тоже боялся. Топтался с зажженной полупудовой свечой у приоткрытой двери.

– Зайди, пресветлый! – пошутил Иван.

Пока спальник устанавливал всюнощную свечу, пока разжигал от нее лучину и «светлил» мелкие свечки на поставцах, на столе, под иконостасом, Иван молчал. Он слишком устал, многое пережил за эти дни, многое хотел обдумать. Сделал отмашку, чтобы Федор шел восвояси, открыл было рот пообещать сироте награду, но увидел белое лицо и осекся. Федор держал палец поперек губ. Глаза у него были настороженны, но добры, и можно было думать, что он просто собирается в носу поковырять, да стесняется царя. Но Иван понял этот жест:

«Молчи!»

Снова Ивану стало страшно. Тьма ночная всегда действовала на него разрушительно. Темными московскими ночами он, повелитель Вселенной, вспоминал раннее сиротское детство и такие же свечные отблески в дворцовых коридорах. Это бродили по Кремлю жуткие бояре Шуйские и Воронцовы, Кубенские и Тучковы. Все – с оружием. И все хотели смерти Ивановой.

Их почти никого уж нет: кто сослан, кто убит, кто бежал к врагам. Но страх остался. Он выпирал из холодеющей груди, рвался наружу хрипом и стоном.

– Уходи! Хватит светить! Рассветился тут! – крикнул Иван визгливо, и спальник летучей мышью выпорхнул за дверь.

– Ты что?! – шепотом спросил Иван.

– Не отпускай меня, – тоже шепотом сказал Федя.

– А куда ж тебя?

– В яму! Подержи еще дня три. Все подумают, что я повинился. Казнят у нас по воскресеньям. За три дня увидишь, кто покушался.

Иван ошеломленно смотрел на бледного светловолосого юношу как на невиданное животное. Никто до него не напрашивался на отсидку в яме! Никто не смел при нем говорить и даже думать о казни! Тем более о своей, хоть и мнимой.

– Истомин!!! – заорал Иван, забыв, что Стременной полк на закате должен был смениться с караула.

Но стреманных сменить было некому, весь распорядок сломался, даже в Ливонию полки не ушли. Никто не знал, какие полки теперь туда пойдут. Стрелецкий голова Сидор Истомин как раз гадал в сенях, отправят его именно в Ливонию или сразу в Крым.

Сидор вбежал к царю только с тремя словами в голове. Они поочередно всплывали в ночной тишине: «Ливония. Крым. Казнь».

– Достоин казни! – рявкнул царь, и Сидор начал валиться на колени. Но сообразил-таки, что не его казнить назначили! Вот – реакция военного! Вот умение ориентироваться в сложной обстановке боя и придворных интриг!

«Конец котенку... – сформулировал Сидор, замирая на полусогнутых. – Жалко парня. Хоть и хлипкий, а с одного удара не валится».

Царь повелел забрать вора в ту же яму. Приставить двойной караул. Стеречь три дня и четыре ночи, считая эту. На рассвете в воскресенье быть готовыми везти на Болото. После казни полк получит недельный отдых с царской милостью. А прямо сейчас – обещанные две бочки вина.

– А не хватит, – Иван хитро прикрыл глаз, отчего в палате все позолотилось, – спросите добавки. Без счету и вычету.

И еще царь шепнул растерянному стрелецкому голове Сидору, чтоб вора держали бережно, не били, не калечили, кормили со своего стола, поили из своей бочки, на ночь дали епанчу. Матерными словами не величали. С разговорами не лезли.

– Все. Ступай!

* * *

Государь Иоанн Васильевич непрестанно чувствовал себя виновным.

Во-первых, он винился перед Богом, которому много чего обещал, но мало что исполнил. Царствование длилось уж четырнадцатый год, а под скипетр православного повелителя Вселенной маловато стран и народов преклонилось. Ну, Казань с татарами. Ну, Астрахань. Теперь вот Ливонию приберем. Но Крым торчит снизу колючкой, Киев – под Польшей, Донская степь – не наша. И это только лоскутки. А Гроб Господень под смрадными агарянами? А София Константинопольская сто лет под турками? А Европа, насквозь пропоганенная папством, – хуже турок? И за Каменными горами на востоке – земли бескрайние, татарские. Индия после Александра Македонского пуста, Египет, Африка – все дожидаются истинного света. Теперь еще в Океане Новую Индию нашли, тоже паписты ее обсели.

А долг обязывает ВСЕХ людей Божьих в православие возратить! Они же от рождения, от Сотворения Мира православными были? Как иначе?

От этих терзаний Ивану часто не спалось. Он чувствовал себя школьником, не сделавшим домашнее задание.

Во-вторых, на Иване имелись многие личные, мирские провинности. Не как у официального лица перед верховным начальством, а как у смертного человечка перед Христом, испителем обывательских слабостей и постыдных желаний. В этом году Иван буквально раздираем был бесами вожделения. Царица Анастасия болела с осени и не очень помогала Ивану избавляться от мужской энергии.

Сейчас, после ухода Смирного, Грозный сидел и пытался думать о покушении. Но мысли странным образом сбивались на подсказанную кем-то тему: странный голос, то писклявый мышинный, то гулкий колокольный, раз за разом предлагал Ивану неожиданные ходы:

– Ты, хозяин, смотри, не очень-то греши! Твой грех обижает Господа и Ангелов Его. Они от тебя отходят, не помогают нести царский посох. От этого ты нарушаешь Божью волю – медлишь с обращением стран ближних и дальних в истинную веру, не дерзаешь мир православием обелить! И так твой малый грех обращается в грех великий!..

Голос еще бубнит, а в голове Ивана начинается такой трезвон, будто звонари на Пасху перепились и никак не могут прекратить благовест. Иван стонет, кричит, бьется затылком о спинку кресла. Звон стихает, и голос, прокашлявшись, продолжает поучать заунывно и лениво:

– На пакостный запах великого греха собираются слуги Сатаны. Они подвигают тебя на новый мелкий грех. Распаляют огонь чресел, показывают взору срамные картины, раззуживают ярость, жажду крови, жестокое сладострастие. Ты предаешься казням и похоти. Губишь невинные души. Их грехи неотпущенные ложатся тяжким грузом на твои грехи и, совокупляясь с ними, умножаются, влекут душу твою вниз...

– Во как загнул! – тянет Иван в пустых сумерках. – Какие грехи у «невинных душ»? И как это чужие грехи с моими совокупаются? Первый раз слышу, чтоб грехи размножались совокуплением!

В голове Ивана оживает воистину срамная картина. В ней личные похоти представляются чистенькими, беленькими голыми девками – с полузабытыми, но родными лицами. Чужие грехи проступают в виде глумливых чудищ смешанного пола, в шерсти, чешуе, перьях. С вакхическим гоготом чужаки заполняют палату, гоняются за Ивановыми девками, сшибают мебель и свечи.

Вот девки брызнули по углам, но не вопят в ужасе, а зазывно хохочут, чуть ли не сами срывают с себя условные и прозрачные одежды.

И постепенно все «наши» падают под натиском чужих грехов. В темных углах грохочет и визжит, аж дым идет.

– Видишь, сын мой, – голосом пресвитера Сильвестра продолжает неизвестный, – ничего святого для них нету – уж и святой угол оскверняют! Пред ликом Спаса творят невиданное дело!

– Но Спас всеведущ и всевидящ! – возражает Иван. – Ему ли не знать таких дел? Не повседневно ли они у нас творятся?

– Вот именно, сынок, вот именно! – неубедительно подхватывает голос.

Тут Иван отвлекается от дискуссии. Одна очень хорошенькая девочка, просто ангелочек, вырвалась из лап мохнатой русалки и выскочила в освещенный круг у подножия Иванова кресла. Русалка – почему-то без хвоста, но с ногами – задержалась в святом углу. Видно Бог-отец и Сын Его воспрепятствовали «совокуплению грехов». Иван умилился Божьей силе, но потом засомневался: в чистых ли помыслах Христос и Отец Небесный лапают грудастую русалку?

Иван напряг разноцветное зрение и увидел, что чужая страсть зацепилась волосами за лампадку, подвешенную на цепи у икон. Масло пролилось на голову грешницы, волосы, вернее – лисья шерсть, вспыхнули и осветили палату ровным, немигающим светом. От боли лиса рванулась, сорвала лампадку и в два прыжка настигла беленькую деву у Ивановых ног. И как ее было не настичь, когда та не убегала, не лезла к Ивану на колени беззащитным котенком, а наоборот, раскорячилась на нижней ступеньке трона.

– Вот эта долбаная тварь тебя погубит, государь! – в рифму резюмировал невидимый Сильвестр, отчетливо сплюнул и в досаде удалился. Пока он шаркал к двери, голос не прекращал ворчание:

– Уж лучше б ты сам ее драл, блудодей, чем позволять такой срам пред царственным ликом!

Постеснялся бы царя, Ваня!

Иван оторвал воспаленный взор от пыхтящих греховодников, поднял дрожащую голову и увидел Сильвестра. Теперь он стоял в приоткрытой двери и осенял палату крестным знаменем. Естественно, от этого все привидения исчезли.

– Позволь, сын мой, облегчить твоё смятение, – вежливо осведомился Сильвестр и вошел, не дожидаясь кивка.

Ивану стало как-то особенно неловко, будто это его, а не рыжеволосого лиса, Сильвестр застал на беленькой малышке. Он не находил слов ответа.

– Хочу успокоить твою душу, – продолжал пресвитер. – Я твой духовный отец и обязан указать на мнимость сего страха...

«Хороша мнимость! – ворчал про себя Иван. – Такой рыжий – такую беленькую. Вдрызг и в крик!»

– То, что тебя терзает, не без Божьего соизволения случилось и есть не козни Дьявола, но несчастный случай...

«Это она по Божьей воле ноги задрала? – тихо страдал Иван. – От несчастного случая стонала?»

– Иные будут твердить о злом умысле, коварстве, заговоре. Но ты смотри на это проще. Сирота нечаянно смутил тебя – от собственного смущения. Вот и игумен Савва за него просит.

Сильвестр смолк и смиренно стоял перед царем. Иван водил глазами по палате, не в силах остановить взор. Два луча – красный и огненно-желтый – метались из угла в угол, будто пытались осветить рассеявшихся грешников. Наконец Сильвестр понял, что Иван невменяем, и осторожно вышел, поклонившись.

И сразу таким холодом повеяло из-за кресла! Так жутко скорчило спину, так страшно дунуло за ворот, что Иван вскочил и выбежал в круг единственной непотухшей всеобщей свечи.

– Сильвестр! Замазывает дело! Сироту спасает! Так-то ты и моего Федора спасать будешь?! – Иван не мог видеть, что Сильвестр медлит за дверью, чутко слушает.

– погоди, святой отец! И тебя спросим! Сдерем лисью шкуру, наденем рыбью чешую! Дай только первых людишек допросить!

Иван затрясся всем телом, выкатил глаза, и вызванный Сильвестром спальник подхватил его уже с колен. Отвел спать, долго сидел у изголовья, говорил тихие сказки.

* * *

Стременные буквально поняли приказ государя и стали кормить Федю со своего жалованного стола. А сотник Штрекенхорн – немец, что возьмешь? – так же внимательно наблюдал за неуклонностью потребления пленником заздравных чар белого меда и плодово-ягодного вина.

Вечер Федя кое-как пережил. Его донесли от гридницы до ямы на епанче, уронив только трижды. Но утром растолкали чуть свет и велели похмелиться под страхом смерти. Стрельцы опасались, что без опохмелки вор не сможет адекватно реагировать на пытку. Для контроля «протрезвления по-русски» (путем замещающей выпивки) начальник полка Истомин велел тащить Федора в гридницу, но прибежал младший подьячий Прошка и передал царскую волю: вора из ямы не вынимать, никому не показывать, все разговоры с ним иметь исключительно через него, Прошку. На этих словах Прошка раздул свой и без того круглый животик в размер живота окольного или думного дьяка.

Истомин пожал плечами, горько вздохнул и для проверки – не опала ли наступила – послал Штрекенхорна в ледник за новым бочонком имбирного меда из прошлогодней майской патоки.

Проходя по двору к пристенным лабазам, сотник Штрекенхорн заметил у воровской ямы посторонних лиц. Был бы сотник русским, он нашел бы подходящее татарское слово для очистки территории. Но педантизм толкнул его к углубленной оценке ситуации, и Штрекенхорн притаился за горкой тележных и лодочных обломков.

В те времена слово «немец» у нас означало не конкретную принадлежность к германской нации, а вообще иностранчину. Дословно оно означает «немолвящий», «неговорящий». В смысле – немой по-русски. Действительно, тогда, как и ныне, представители западных цивилизаций с трудом усваивали наш кружевной язык. Сначала они привыкали понимать слова, а потом – гораздо позже – сами рисковали произносить их.

Сотник Штрекенхорн служил в Москве одиннадцатый год и вот что понял своим немецким ухом.

Толстый монах возле ямы просил узника облегчить душу, сказать, в чем его вина и грех, покаяться безоглядно ему, отцу Савве. Предлагал считать покаяние исповедью. Божился сохранить любую тайну, кроме прямого посягательства на жизнь государя. Вор, видимо, отве-

чал невпопад, потому что следующими словами Саввы было обещание принести в яму кота и умолять государя о его – кота? – судьбе. Далее шло что-то неразборчивое о начальнике полка Сидоре... А! Выходило, кот ранее принадлежал стрелецкому голове, и, значит, его похитили.

Тут любопытство Штрекенхорна уступило место чувству долга. Сотник забеспокоился, что вор выдаст государственную тайну, и вышел на свет из-за телег. Приосанился, четко промаршировал к яме и попросил отца Савву воздержаться от бесед с заключенным не по его, сотника Штрекенхорна, злой воле, а исключительно по указу государя.

Савва смиренно отошел.

Штрекенхорн добрался до погребов и ледника, запросил бочонок белого меду, пообещав продержат на нем караульную сотню не менее чем до вечерней зари, – июнь, сами понимаете – дни длинные! Намекнул, что с вечера хорошо бы испробовать «ренского» – продукт отечества, так сказать.

Возвращаясь в раздумьях о милой родине, сотник заметил у ямы еще какого-то чело-вечка. Серый, линиялый мужичок неопределенного сословия что-то осторожно спрашивал – будто сплевывал в яму – и сразу отстранялся на шаг, оставляя у края немалое розовое ухо.

Тут уж Штрекенхорн не стал прислушиваться, рывкнул на мужика по-немецки – в продолжение немецких мыслей о Рейне – и пошел в гридницу расширенным шагом. Оттуда сразу выскочили два полунедовольных стрельца с бердышами. Недовольство их относилось к необходимости гонять мужика и стоять потом у ямы до обеда. Довольная половина сознания предвкусывала белый мед. Стрельцы намеревались провести караульные часы в рассуждениях, добавлена ли в белый мед яблочная патока, и если да, то каких яблок – можайских или белого налива.

Мужика и след простыл. Ловить было некого.

Постовая служба потянулась медленно. Никаких происшествий не случилось. Два раза являлся Истомин, проверял выправку караульных при подходе начальства.

– Смотрите мне, морды, – говорил ласково, – никого не подпускайте! Никому нельзя говорить с вором, кроме малого подьячего Прошки. Ну, знаете, розовый такой пузанчик, на заливного поросенка похож. А может пожаловать и сам государь, так вы ж не осрамитесь, сопли и слюни оботрите заранее. И при государе не плюйте.

– Не беспокойсь, господин начальник, – заверил старший караульный, – не подведем. Служим в полку семь годков с половиною, то есть это почти девять получается! – и сплюнул в яму.

Младший стрелец промолчал. Рот его был занят. Он выполнял приказ. Удерживал слюни.

Ближе к обеду стало припекать, захотелось расстегнуть летники, но раз за разом прибежал Прошка. Приказывал стрельцам отойти на пять шагов и что-то спрашивал у ямы громким, страшным шепотом.

В третий приход Прошка надул живот и строго спросил приметы мужика в серой одежде. Ребята ответили, что рады бы, господин Заливной, но не видали – были на смене караула. Прошка убежал, озадаченный «господином Заливным» и непонятной «сменой караула» при несменности охранной сотни.

Но самый ужас случился в обед: караул именно не сменили! Пришел Штрекенхорн, сказал, чтоб потерпели, – ждут государя, – хреново будет, если попадет на смену караула. Обещал отдельного вина и убежал, как молодой.

Тут же принесли обед вору. Мать вашу заесть! Кто ж так воров кормит?! Да еще в Петров пост! При такой жратве – осетровой спинке, левашниках в патоке, каравае с сыром, пряниках, клюквенном морсе с ледника – каждый в вору захочет!

Не успел гад пожрать, как подскочил толстый монах с полосатым котом, хотел кинуть тварь в яму – еле отогнали. Монах заголосил непонятные слова, тряс кота, закатывал глаза в небо, отчего там разбежались последние облака и стало жарить невыносимо. На крик караульных прискакал Штрекенхорн. Про кота не понял. Спросил, чей кот. Оказалось – воровской.

Посмотрели внимательно: так и есть! – морда круглая, хитрая, глазом подмигивает. Еще оказалось, что кот как-то сложно приходится родней начальнику полка Истомину. Послали за Сидором. Сидор родства не признал, проверил, что кот православный – заставил монашка его перекрестить. Едва занялись исследованием масти, как налетел Прошка, велел лишних убрать, спросил у ямы про кота, велел кинуть кота в яму, вежливо отправил монаха в сторону Троицких ворот и дерзко зыркнул на стрелецкого голову.

– Сейчас государь прошествует мимо ямы!

Каравул подтянулся, по несколько раз проверил носы рукавом. Начальники переместились на крыльцо гридницы. Стали ждать.

Царь спустился из Грановитой палаты по главной лестнице, очень живо прошагал в просвет между Архангельским собором и Большой звонницей, взял чуть правее, как бы к стене, потом передумал – заложил поворот к Спасским воротам. Получилась дуга, касательная к яме.

У ямы Иван задержался. Пока часовые думали о смысле приказа: «Не позволять говорить с вором иным, окромя подьячего Прошки» – входит ли царь в «иные» и стоит ли придержать его до подхода Прошки? – вон он пыхтит, – царь подошел к самому краю и быстро проговорил несколько непонятных предложений. Яма гугукала ровно, четко, как эхо в деревенском колодце. Один раз яма хихикнула, потом мяукнула в ответ на особо мудреный вопрос царя, и младший караульный незаметно перекрестился левой, свободной от бердыша рукой.

Царь обернулся идти обратно, столкнулся с господином Заливным, что-то приказал и прошагал ко дворцу.

– Вот шагает! – умилился старший стрелец. – Все бы так шагали, можно было верст по сорок в поприще проходить! – Далее стрелец распространяться не стал, потому что нелепым казалось великому царю пешком чухать до Ливонии. Да и вообще на войну. Стрельцы также надеялись, что Ливонская кампания минует не только царя, но и Стременной полк, рожденный исключительно для пешего сопровождения государя у стремени его царственной лошади.

Рассуждения прекратились в присутствии господина Заливного. Прохор выглядел особенно надутым. Поел от пуза, зараза!

– Так. Каравул свободен, ступайте кушать. Скажите там Истомину, пусть другую пару пришлет, покрепче. И пусть до моего отхода не приближаются. Поговорить хочу.

Суэта вокруг ямы продолжалась до сумерек. Едва солнце позолотило маковки соборов, караул был еще удвоен, в гридницу проволокли бочку ренского, но ужинать не разрешили – выгнали всю сотню бродить по Кремлю. Приказ был понятный: «Смотреть в оба, и если что, то сразу раз – и сюда!»

В довершение дня два стременных первогодка подслушали приказ Заливного начальнику полка Сидору – лично идти к митрополиту Макарию и просить именем государя, чтоб людишки из кремлевских монастырей по округе не шастали.

И когда все успокоилось, когда над стеной взошла луна, когда из погребов проволокли очередной бочонок с неизвестным содержимым, господин младший дворцовый подьячий Прохор Заливной посетил пост у ямы снова. Вслед за этим вора достали из ямы и вместе с котом повели во дворец.

Было тихо до странности. Только кот пару раз мяукнул на луну.

* * *

Удивительная это была ночь. В малой палате, примыкающей к царской спальне, расположилась странная компания. Государь Иван Васильевич полулежал в кресле с пологой спинкой. Государев вор Федька Смирной сидел на краешке жесткой лавки, но какая разница! – на этой лавке и боярам-то не всегда удавалось усидеть! И кот Истома (в монашестве Илларион)

четырёхцветной масти – в серую и черную полосу, с белой грудью и песочными подпалинами – тоже сидел в присутствии грозного монарха. Правда, пока на полу.

Разговор шел спокойный. Такого покоя при обсуждении важных дел давно не ощущали здешние стены. А дело было воистину важное! – что может быть важнее в государстве, чем жизнь, здоровье государя и его семейства? Короче, тут неспешно, со скоростью движения луны по небесам Божиим закладывались стратегические интересы правящей династии Рюриковичей на этот, 7068 от сотворения мира, год и на прочие годы до скончания этого самого мира. Интерес династии был один: выжить.

Иван Васильевич, сам не зная почему, рассказывал безродному сироте, на которого еще и воровской розыск не закрыли, глубоко семейные дела. А в них, как принято у наших правителей, и таилась главная опасность.

При воспоминании об этой опасности у царя холодело внутри, толчком сжимало сердце и голову, огненная волна катилась от поясницы вверх – к горлу. Вниз от поясницы, напротив, падала волна ледяная, бесчувственная. И хотел царь кричать от боли и ужаса, но вор Федька говорил какое-нибудь мелкое слово, – причем и дозволения на него не спрашивал, шельма! – и становилось Ивану спокойнее, болезненные волны поворачивали вспять, сталкивались у печени и гасили друг друга.

Вот и пойми после этого: зачем царь зазвал к себе сироту – для спроса или для лечения?

Кот Истома внимательно слушал разговор. Впервые за четыре дня его не гоняли метлой, не били сапогами, не называли – прости, Господи! – женскими существительными. Истома хотел перекреститься, но постеснялся и прилег на коврик у лежанки. Хозяин как раз спрашивал бородатого мужика, из-за чего сыр-бор горит. Мужик начал рассказывать издали, и Истома прикрыл глаза, чтобы лучше слушалось.

– Тут, Федор, давняя зависть скрыта. У моей жены Анастасии Романовны есть многая родня. Братья ее, Захарьины-Кошкины, приближены к престолу, возведены в чины, составляют опору государству и защиту наследникам – Иоанну и Федору...

При слове «Кошкины» кот Истома насторожил уши, а мужик продолжал:

– ...Но недалеко умом! Нелюбознательны, нахраписты, завистливы, ненадежны. Не обойтись ими на царстве! С давних лет я воспринял завет трех учителей: моего отца Василия Иоанновича, переданный через его духовника Иосифа Волоцкого; самого Иосифа – старца премудрого; и его ученика – схимника Вассиана. Их наука – о царских людях, ибо люди дополняют триединую суть государства: Бог на небе, Государь на престоле, люди на земле. Но у престола простым людям быть нездорово. Власть, на которую они не имеют помазания Господня, разъедает души и ввергает в ад. И чем умнее человек, тем больше в нем дверей для искушения властью. Учителя мои завещали долго людей у трона не держать, новых советников отыскивать, выбирать сильных душой, а не умом. Ибо никто не должен быть умнее государя!

Вот и стал я призывать советников не по чину, а по доброте. Пресвитер Благовещенский Сильвестр и окольный Алексей Адашев долго служили мне правдой. И с досадой наблюдал я, как постепенно сбываются отеческие пророчества.

Истома прилег на бок, голову положил на лапы и дальше стал слушать не подробно, а вообще. Так лучше усваивался смысл происходящего. А смысл был таков. Этот мужик, оказывается, – наш государь Иоанн Четвертый Васильевич. Это он наемни приехал в монастырь, когда с Хозяином падучка приключилась. Только тогда на нем был синий бархатный летник с золотым кантом и меховым воротничком какого-то вредного зверя.

Теперь царь облачился в белую рубашку и красные штаны, восточный халат и маленькую шелковую шапочку и потому был совсем не похож на тогдашнего.

Царь жаловался, что Кошкины не поладили с ближними людьми. Все остальные люди разделились примерно надвое. Одни теперь назывались настасынцы, другие – адашевцы. И

нужно бы их звать силвестровцами, но хитрый пресвитер сказывался не причастным к распрям, и обвинить его не получалось.

Истома согласно зевнул. Слово «адашевцы» звучало мягко, ласково, как шорох собственного меха по русской печи, когда сворачиваешься в клубочек. Слово «настасьинцы» вообще прекрасно произносилось, в нем слышался такой жирный «кис-кис», будто сразу за этим словом могли дать куриную ножку и рыбью спинку одновременно. Слово «силвестровцы», напротив, было неприятным, корявым, скрипучим, как крыса в монастырском подполье. Зато оно вызывало азарт, желание прыгнуть и драть жертву клыком и когтем. Это слово больше подходило для именованья врага. Тут Истома вполне поддерживал царя.

Федя спросил Ивана, давно ли подозревает измену. Оказалось – семь лет! С казанского похода, когда среди болезни государя обозначились партии.

– А что ж ты терпел, Иван Васильевич?

– Сам уж не знаю. Казню себя за это. Нужно было мне тогда, поднявшись со скорбного одра, выжечь старую свиту каленым железом. Неужто не нашел бы я свежих людей? Зато сынок Дмитрий, глядишь, не утонул бы... Теперь вот опять. Осенью поехал я помолиться. Съестной припас в дорогу неведомо кто собирал, так и не дознались. В дороге Настасье стало плохо на живот. Пересмотрели женское питье. Она меду и вина не пьет. При дворе всем женам дают только морс. И морс дорожный с горчинкой оказался. Заставили повариху выпить – с первого разу ничего. Вылили морс собакам. Они выли всю ночь. Две из шести к утру околели, остальные сделались к охоте негожи. Я велел везти трупы собак в Москву, хотел отдать немцам на просмотр. Повариху снова напоили остатками морса. Со второй чарки с ней сделались корчи. Отпоили молоком – очухалась. Заковали в железа, повезли в телеге для сыску. Перед последним поприщем после ночевки нашли повариху удушенной цепью. Будто бы цепь от оков захлестнула ей шею, зацепилась за колесную чеку и намоталась на ось телеги. По приезде не смогли сыскать и собачьей падали. Истратилась куда-то. Веришь ты в такое?

«Чушь собачья!» – муркнул Истома.

Измена сказывалась кругом. Няньки князя Федора Иоанновича смотрели за ним плохо. Малец ходил в шишках, того и гляди, мог с лестницы свалиться. В еде попадалась тухлятина, хоть и секли поваров без жалости. Но самое страшное – Настасье становилось все хуже. Причем вид болезни был тот же – осенний. И если тогда был яд, то, получается, и сейчас не без яду? Как думаешь?

– Яды, государь, бывают разные, – спокойно отвечал Федор, – есть скорые, бьют в один миг или час. Такими греки травили своих воров, Сократа, например. А есть яды медленные. Помнишь твоего пращура, князя Ростислава Владимировича Тмутараканского? Его херсонцы отравили восьмидневным ядом. А значит, можно развести и годовой состав. Такой яд незаметнее. Но для него нужны ближние люди. Кто-то должен сыпать его в питье малыми частями. Пересмотри слуг. Кто прислуживает царице с осени? Кто носит еду так, что остается незаметным хоть на миг? Нужно розыск вести здесь, во дворце.

– Я опасюсь не только яду, но и колдовства. Москва полна чародеями, волхвами, облакопрогонниками, ведьмами. Один наглец приходил как раз перед этой Пасхой. Обещал разогнать тучи над Москвой. А то, говорит, какое Светлое Воскресение под дождем? Велел отдать поганца медведям. Но нечисти в Москве не убавляется. За деньги готовы на любого человека порчу навести.

– Можно и колдунов поискать, но я б начал с отравителей. Это проще, ближе, вернее. А с колдунами повремени. На все сразу рук не хватит.

Тут Истома вздрогнул сквозь сон и насторожил уши: что-то очень интересное говорилось! Царь просил – просил, а не приказывал! – чтоб Хозяин Федя пожил малость во дворце, помог государю разыскать воров истинных! И Федя соглашался, но только после казни. А как

же Истома? Пожить при дворцовой поварне можно даже в яме, но казнь зачем? И как казнить будут? Непонятно...

И тут – будто гром грянул с ясного ночного неба! Царь, грозный повелитель всей земли от края небес и до края их, крикнул звонким голосом и назвал Истому по имени!

Истома вскочил со скоростью приказного стряпчего, выпучил глаза, состроил фальшивую улыбку и попытался потереться о сафьяновый сапог. Но ударила дверь, вбежал усатый коротышка, памятный по яме и монастырскому происшествию, все закрутилось, замелькало, Истома оказался за пазухой Хозяина и вскоре уже наблюдал луну из дворовой ямы. Правда, не всю целиком, а только тонкий серебряный лучик на глинистой стенке. Зато еда была прежняя, дворцовая, без мышинного запаха, без гнили, без отвратительного ладана.

«Согласился Хозяин, – умиротворенно думал Истома, засыпая под епанчой, – еще послужим Отечеству!»

* * *

А Федору не спалось. Он перечислял про себя все, что стало известно от царя и что знал сам. Получалось много. Гораздо больше, чем в головоломках из святых книг. В монастыре, пытаясь разгадать какую-нибудь библейскую тайну, Федор никак не мог собрать составные части, связи, факты, достаточные для точного ответа.

Вот, например, задача о пяти хлебах и двух рыбах, которыми Иисус накормил несколько тысяч народу. Если бы в притче определенно говорилось о мешках, из которых Иисус доставал еду, можно было бы утверждать, что целые караваны и целые рыбыны снова и снова возникали в мешках по Божьей воле. Тогда нечего говорить о конкретных числах 2 и 5. Нужно так прямо и считать: в мешки положено пять хлебов и две рыбы; извлечено столько-то тысяч караваев и столько-то пудов рыбы. А если мешков не было? Если рыба размножалась прямо в руках Христа, а у караваев отрастали оторванные бока? Как дико это выглядело! Какими тупицами были галилеяне, если, видя такое чудо, продолжали жрать и не думали ни о чем, кроме собственного брюха?! Наша монастырская братия тоже караваны рвет страстно, но покажи им чудо – разявит рот, забудет жевать. Нет, не зря иудеев прокляли...

Отец Савва на вопросы Федора обиженно фыркал, становился похож на некормленного Истому, назначал любопытному отроку легкую епитимью. Вроде службы в поварне – чистить рыбу и печь хлеб.

А в царских тайнах было слишком много сведений. И слишком много получалось очевидных, правдоподобных ответов.

Могли желать смерти Настасьи сивльвестровцы? Обязаны были! Сильвестр получил неограниченную власть со времени коронации Ивана в 1547 году. Юный царь был занят тогда только тремя делами: любовью к молодой жене, медленной мстостью за поруганную мать и собственно царством. Из царства у Ивана хватало времени на гражданское правление, на войну, на борьбу с разбоем. Дела духовные, церковные, дипломатические, приказные достались Сильвестру. Тут он опередил многочисленных родственников царицы. Потом братья Захарьины осмотрелись при дворе и давай наступать!

Сильвестр и Захарьины наперебой расставляли своих людей по волостям, землям, городам. Но у Сильвестра было большое преимущество – он имел прямой доступ к государю. Более того, по главной своей обязанности царского духовника Сильвестр ежедневно подсказывал Ивану, что достойно есть и что недостойно есть. Что такое хорошо и что такое плохо. Кто из людей угоден Богу на государевой службе, а кто нет. Божье имя припечатывалось на все подсказки Сильвестра, как небесная печать, – попробуй поспорь!

Но Захарьины пробирались через Настасью. Ночь была их без остатка! Не в каждую ночь Настасья могла решить дела, но если уж решала, то бесповоротно! И стал Сильвестр замечать,

что уходит потихоньку из его рук ниточка царской воли. Особенно в мирских вопросах. Запустит он своего человечка в рыбные промыслы или к литейному делу, и царь этого человечка примет. Но через месяц или год прибегает человечек к Сильвестру ободранный, горько плачет сирота: обобрали настасьинцы, наехали по государеву указу. Сильвестр к царю: как же так?

– А так, – прячет глаза Иван, – очень нужно троюродного племянника царицы уважить. Оказалось, Настасья – самый острый гвоздь в Сильвестровом распяты.

Тут при дворе выскочил Лешка Адашев – смазливый, проворный молодой человек из не очень знатных, но и не очень подлых. Сильвестр сначала огорчился, но потом рассчитал: Адашева Захарьины не пропустят, у них на каждое место по десять родичей готово. Решил Сильвестр сам Адашева пропустить. Но куда? Уж не в монахи с искусительной рожей! Сильвестр провел Адашева прямо к царю! А что? Правителю умные советники нужны. А тупые Захарьины что посоветуют? И Сильвестру Адашев не помеха – он по своим делам ходок, Сильвестр – по своим. К тому же Лешка Сильвестру такой был благодарный, что чуть в ногах не валялся и ручки целовал! Ну и целовал, а что? Попу# можно.

Сложилась тихая, непоказная дружба. И конца ей не было, потому что на Сильвестровы вотчины Алексей не посягал, выдавливал потихоньку настасьинцев. А этих надолго должно было хватить. И еще одного, третьего, партнера нашли приятели. Настоящий князь Дмитрий Курлятьев вошел с ними в сговор и стал заниматься сословной политикой. Ему, князю, это удобнее было, чем не пойми какому Лешке или попу. Составился тайный триумвират. Троица, так сказать.

Эти придворные расклады были в Москве известны каждому. В монастыре их ежедневно обсуждали на закате. А что царь? Он тоже чувствовал придворные дела. Но то, что обывателю представляется окончательной истиной, властителю часто кажется сплетней, интригой. Вот он и Феде излагал семейное дело в сомнении: достойно ли веры?

Как повернется московская жизнь, умри Настасья? Захарьиным сразу конец. В лучшем случае ссылка в сытые места. Там они могли бы дожидаться Ивановой смерти, Ивана-малого воцарения. Но Иван Иванович еще неизвестно, как с дядьками обойдется. Нужны они тут под ногами путаться? Скорее, нет. Но и казнить он их не будет, оставит на прикорме. А в трудную минуту может и позвать. Значит, настасьинцам нужно терпеть молча. Пока не подрастет Иван-маленький. И тогда они становятся смертельной угрозой Ивану Грозному.

Сильвестровцам, наоборот, дожидаться нечего. Настасья – их смерть. Смерть Настасьи – их надежда. Ивану сейчас только 30 лет. Еще столько же может править. За это время всякое произойдет. Успеет пожить.

Хочет ли Сильвестр Настасьиной смерти?

Конечно, хочет. Но хотеть можно по-разному. Можно хотеть и делать, даже с риском для жизни. А можно просто хотеть. Чтобы это случилось само собой, безнаказанно. Сильвестр хочет и делает – без риска, как ему кажется. Он сам ядов не смешивает, ведь правда?

Алексея Адашева в Москве сейчас нет. Он в мае, с прошлой посылкой войск уехал в Ливонию третьим воеводой Большого полка. Чин плевый. В Разрядной книге с ним не продвнешься. Нужно узнать, как уезжал Адашев. С опалой или сам? Если Настасью продолжают травить, то, получается, не от Адашева? Или он людей оставил? Или все-таки Сильвестр?

Так, кому еще Настя мешает? Были бы у царя дети от других жен или бабы на стороне, но с претензией, тогда да. Они бы Настю изводили. Но баб не видно, дети все – Настины, двоюродным братьям до царства далеко, разве что княжичей передушить. Но тогда нужно с Грозного начинать. И кто-то же начинал? Что за шестерка ряженных в монастыре объявилась? Если они от Сильвестра, то что получается?

Получается так. Ивана нету, Настя нету, Захарьиных долой. И можно спокойно душить детей. Но Сильвестру это зачем? Сам в цари собрался? Ну не Адашева же ставить? У того в роду боярства меньше, чем у Истома блох. Как бы есть, но по морде незаметно.

Значит, Сильвестр старается не для себя. Или для себя, но не в царях. А в сатрапах каких-нибудь или регентах-хранителях престола. Нужно посмотреть, какие у него связи в Литве, среди английских и немецких гостей. Узнать, какие книги читает. Спрашивать через Прошку волокитно. Сейчас бы во дворце самому поискать.

И еще вопрос. Кто приходил утром? Что за человечешко выспрашивал, вынюхивал? Он не с базара забрел любопытствовать, не сам по себе. Это важный след. Кому-то очень интересно опознать вора. Спутал Федор карты людям. Они думают, что есть еще один заговор. С утра на Красной площади громко кричали о поимке вора, и они почему-то не могут ждать до естественного прояснения дела. Значит, придут еще.

Федор постучал палкой в крышку ямы и попросил караульных кликнуть Прохора. Толстяка подняли с трудом, и он полуодетый приковылял к яме. Ворчал, но ругаться не стал. Знал о вечерней встрече царя и вора.

Федя медленно, четко, мысль за мыслью вдолбил Прошке следующее.

Нужно правдоподобно убрать от ямы охрану. Послать несколько человек для тайного наблюдения за ямой издали. Не препятствовать приходу ночных гостей. Вообще не препятствовать никаким событиям. Следить со стороны, сопровождать пришельцев, проведать, кто такие и зачем. Только так мы узнаем, откуда ноги растут.

Последний вопрос окончательно разбудил Прошку. Он приоткрыл полы теплого кафтана, посмотрел, откуда растут ноги, скривил рот, пожал плечами и прошлепал в сторону дворца.

* * *

В те времена Московский Кремль – не то что теперь – был проходным двором. Он, конечно, был так же обнесен красной кирпичной стеной, ворота находились на запорах, особенно в ночное время. Но проверку этих запоров производили от случая к случаю, от войны к войне. Днем через ворота в Кремль беспрепятственно входили десятки, сотни богомольцев, монахов, мастеровых. И они не на экскурсию сюда прибывали, они жили здесь – во дворце, в нескольких монастырях, при церковных и дворцовых службах. Документов у пришлого народа никто не спрашивал – не было никаких документов. Даже понятия такого караулы не знали. Бывало, спросят странника: «Кто таков?», такой же ответ и получают: «Кукуйской волости села Бурьянова, растакой-то матери природный сын». И все. Короче, войти мог любой.

Минувшим днем караульная сотня Стременного полка перестаралась с повышением бдительности. Штрекенхорн лично обошел все ворота, осмотрел закладные бревна – огромные деревянные засовы, приказал к ночи все закрыть. На митрополичьем подворье было объявлено об особом положении. Приходящим и уходящим Макарий указал до захода солнца закончить дела и через ворота не ходить.

Так что теперь в кремлевских стенах было тихо.

Но Федя знал, что стен без дыр не бывает. И тот, кто идет по тайному делу, никогда не пользуется воротами. В Сретенском монастыре стены были не ветхие, ворота обычно замкнуты. Но в дальнем углу двора за общежительными кельями имелся лаз. Он даже прикрыт не был, все о нем знали. В праздничные дни, когда ворота распахивались для прихожан, воспитанники все равно пользовались лазом. Даже если их посылал по делу сам игумен Савва.

Были дырки и в кремлевской стене. Во-первых, имелись потайные ходы из башен к реке – брать воду во время осады.

В самих башнях были проделаны малые сквозные ниши – печуры. Они и правда напоминали печное устье. Человек в печуру проходил чуть согнувшись. В двух местах – с восточной стороны и на юго-западном углу – стены треснули еще при пожаре 1547 года. Трещины змеились сверху и у земли достигали двух-трех вершков в ширину – ногу можно вставить. А на уровне трех саженей в трещину уже мог проскользнуть не очень полный человек. Не Про-

хор, конечно. Прохору нужно еще сажень подниматься. В общем, дыры есть. Для важного дела кремлевская стена не помеха. Хотя в Москве поныне бытует мнение, что Кремль на замке.

Сразу после полуночи у ямы снова возникло оживление. Подьячий Прохор привел стрелецкого сотника Штрекенхорна, что-то кричал, топал ногами, придирался к выправке полусонных часовых и наконец велел им убираться к черту. На хрен такой караул! Лучше замок навесить.

Караул убрался, потом вернулся, не доходя ямы, свернул к пристенным лабазам, откуда вскоре донеслись кудахтанье разбуженных кур, мат, грохот железа. Потом песня. Караульные весело промаршировали мимо ямы, сбросили на крышку ржавую цепь с замком неизвестной системы, а бочонок с жидкостью известной крепости сбрасывать не пожелали. Песня переместилась в гридницу и пелась еще с час. Все это время крышка ямы оставалась незамкнутой, и вор с досадой поминал русское раздолбайство на любом году службы. Наконец пришла пара служивых. Поддерживая друг друга в борьбе со всемирным тяготением, воины кое-как растянули цепь поперек крышки, продели концы в шаткие кольца, а уж замок вставить в звенья цепи им помог не иначе как святой Петр – ключник Бога и организатор хмельного поста.

Так что если чей-то глаз наблюдал в эти минуты за окрестностями ямы, он много веселился и с трудом сдерживал ехидный смех.

В пределах Кремля находилось, однако, несколько человек, которым было не до смеха. Первый, царь Иван, инструктировал в своем покое второго – молодого человека в черном. Черное на нем было непривычным для московского обихода. Здесь не удивлялись монашеским облачениям, черным от пыли и копоти армякам мастеровых. Но ночной гость Грозного был одет в щегольской костюм польского кроя с короткой накидкой. У него был вовсе не русский вид при вполне русском имени. Звали молодого человека Иван Глухов. Он числился при Поместном приказе, основанном четыре года назад для присмотра за раздачей вотчин.

Два Ивана разговаривали полупшепотом, хотя вокруг никого не было. Иван Глухов рассказывал о своих наблюдениях за передачей волостей в последние недели. Оказывалось, что братья Захарьины за месяц потеряли с полдюжины уездов, солеварни у Перми, земли в окрестностях двух монастырей. Представление на передачу выморочных вотчин, промыслов и наделов давал, как обычно, Разрядный приказ. Значит, он под адашевцами, несмотря на отъезд Алексея, – заключил Глухов.

Грозный спокойно кивал доносчику головой и не свирепел по обыкновению, потом перевел беседу в другое русло. Глухов получил указание взять людей и немедленно приступить к скрытному наблюдению за ямой. Любого, кто подойдет к ней, проследить до логова. Ничего не предпринимать, обо всем увиденном и услышанном доложить. Глухов растворился в ночи.

Грозный довольно вспоминал поучение старца Вассиана: «Призывай молодых». Сейчас во всех приказах и приказных палатах служили скромные ребята из незнатных семей. Они бледными тенями скользили по приказным избам, все запоминали, все сообщали царю. Прошку, конечно, бледной тенью не назовешь, но в Большом дворце худым быть подозрительно.

Еще не спалось в кремлевской ограде сотнику Штрекенхорну. Он более других стрельцов уловил напряжение момента. Поэтому и пил меньше. Сидел на лавке поближе к двери и во всеоружии. Длинный меч шведской выделки тянул кожаную перевязь, давил на плечо. Бердыш на тяжелом дубовом древке стоял в уголке за дверью. Был у Штрекенхорна даже пистолет. Он заряжал его раз в неделю перед караулом. Сейчас пистолет оставался заряженным третий день, и сотник опасался за его огнестрельные свойства.

Не спал и Прохор. То есть спать ему не давали. Ключник царицы Анисим Петров ходил по камерке Прошки из угла в угол и при каждом проходе толкал подьячего в плечо. Такова была в эту ночь служба Анисима.

Вот, кажется, и все. Нет, еще двое не спали. Оглашенный вор Федор Смирной боролся со сном в яме под епанчой. Кот Истома мешал ему бороться громким сопением, переходящим в храп. Кот дрых без задних лап – слишком плотно поужинал, слишком многое пережил за день. Под мурлыканье Истома спать хотелось вдвойне.

Второй неспящий бездвижно сидел в прорези большой звонницы, спиной к дворцу – лицом к яме, и смотрел вниз. Если бы в русской традиции нашлось место для каменных изваяний, этого наблюдателя можно было бы посчитать гранитной химерой.

Так получалось, что именно этот человек стал ключом ночного движения. Раньше него никто в кремлевском дворе не смел двинуться. Но и видеть его никто не мог – так неудачно падали лунные тени. Человек тоже не видел никого из членов ночной вахты, он даже надеялся, что таковых вовсе нет. А ждал он часа, когда луна уберется за громаду дворца и зубчатку стены.

И скоро такой час настал.

Часть 2. Две памяти

Царь Иван и сирота Федор лежали в своих очень разных постелях, но мысли их витали в одном и том же времени. Видно, что-то связывало этих людей – и не только интригой сегодняшней ночи.

Иван вспоминал начало 1547 года – венчание на царство, свадьбу с Анастасией, первые успешные дела, когда удалось преодолеть, сломать боярскую оппозицию. Но свадьба вспоминалась приятнее всего. В этом обряде не было ничего натянутого, опасного. И ответственность перед молодой женой, семьей хоть и была велика, но не шла в сравнение с тяжелой ответственностью воцарения, долгом сверхъестественным, нечеловеческим. К памяти о свадьбе Иван прибегал, когда становилось совсем уж беспросветно. Иван прятался в то 3 февраля, в единственный день жизни, с утра до ночи прошедший в радости.

Ох и снежной была та зима! Но солнце ежедневно показывалось над Москвой, золотило купола, осыпало алмазами деревья, весь кремлевский двор. Ивану почему-то вспоминался краткий миг выхода из церкви. Не венчание у алтаря, не застолье, не брачная ночь, а именно тот единственный шаг через порог Успенского собора. Он сравнивал его с точно таким шагом двухнедельной давности, когда выходил после венчания на царство. Погода была одинаковая – солнечно-снежная, и люди на площади собрались те же – московский люд, дворяне, бело-местцы, жильцы. Но что-то разнило эти два выхода.

16 января первый русский венчанный царь был встречен криками приветов, бросанием шапок, звоном колоколов.

Но глаза людей светились тревогой. Что несет им вселенское значение московского правителя? На что он покушается? Вдруг объявит сейчас войну всему неправославному миру? А мы тогда как?

А 3 февраля – дело другое! Народ завопил дружно, колокола ударили в лад, чуть не лопнули от счастья. Их «малиновый звон» превратился в «малиновый вопль». «Все были с ног до головы в малине», – улыбнулся Иван.

Люди радовались от души и не могли наглядеться на красавицу Настю, выигравшую царские смотрины – открытый конкурс невест. Всех умиляло, что царь – сам сирота с 3 и 8 лет – тоже взял за себя сироту. И когда после венчания молодая пара остановилась на ступеньках южных врат собора и собиралась ступить на ковровую дорожку, проложенную по снегу к дворцовой лестнице и Красному крыльцу, жениховы дружки – подвыпившие кравчие – бросили в толпу «посыпку» – мелкие золотые и серебряные монеты. Так народ не сразу на них и кинулся! Промедлил миг, боясь оторвать глаза от царя и царицы. Этот миг Ивану был дороже всех кремлевских сокровищ, он бы каждый день опустошал сундуки, лишь бы так верили и любили. Но что поделаешь, жизнь гораздо скучнее праздника.

Хорошо бы, если просто скучнее. Она страшнее, злее, завистливее. Никаким народным гуляньем не стереть ужаса, который преследовал Ивана с детских лет. Почему-то ярче других вспоминалась сцена в маминой спальне 12 апреля 1538 года, в девятый день ее смерти. Девятины отсидели напряженно. За скромным столом придворные цепко посматривали друг на друга и опасались, просто отказывались пить и есть. Шептались об отравлении царицы Елены.

Вечером восьмилетний Ваня зашел в спальню царицы, постоял, посмотрел сквозь пыльное окно в беспросветный мрак. Подошел к постели. На ней было разложено любимое выходное платье мамы из темно-красного византийского бархата с серебряным и жемчужным шитьем. В него собирались обрядить покойницу, но кто-то шикнул на спальных девок: «Нечего добро переводить!» – и Елену погребли в монашеском облачении, хоть на самом деле не успела она принять предсмертный постриг.

«Быстрый яд смешали, сволочи! – прошипел царь Иван, вспоминая. – Ну, погодите! Я вам смешаю!»

А мальчик Ваня все стоял у постели, и платье казалось ему тенью матери, кровавым отпечатком.

Он хотел уже идти к себе, когда в дверь ударили, она взвизгнула петлями, и в комнату вошли боярин Михаил Тучков и окольный Андрей Михайлович Шуйский, только вчера выпущенный из тюрьмы и пожалованный в бояре.

Увидев Ивана, они и ухом не повели. Тучков стал шарить по сундукам, углам, шкапулкам с рукоделием. Искали не драгоценности, их еще неделю назад ссыпали в сокровищницу. Их даже не украли! Шуйские собирались владеть всем!

Пока Тучков шурувал в женских тряпках, князь Андрей уселся в кресло у кровати. Ноги в слякотных сапогах положил на постель, прямо на платье Елены. Ваня побледнел, оцепенел от ненависти и страха.

– А знаешь ли ты, Ваня, что мы с тобой братья? – начал враскачку Шуйский. – Да-да, оба – Рюрикова корня. Потомки светлого Александра Невского. Только ты от младшей ветви, а я – от старшей! А что нам Рюрик завещал? Что старший брат младшему – отец и господин, несмотря на волости. Так я тебе заместо отца теперь буду.

Шуйский заржал, перебросил ногу за ногу, отчего жирный ошметок апрельской грязи упал на жемчужную россыпь по поясу платья.

– А лучше, Ваня, – продолжал Шуйский, – давай я тебе не просто отцом буду. Хочу называться не только боярином, а первосоветником государевым! Слышь, Тучков, запиши новый чин, пока не забыл.

Тучков хлопнул крышкой сундука и нервно подскочил к постели.

– Нету бумаг, Андрей! Нет переписки! Но должна быть! Говорили люди об измене. Куда ты, сука, письма польские девала?! – завопил Тучков, и Ваня понял, что он пьян.

Тучков опрокинул ларец с рукоделием, схватил вязальные спицы и, упав на колени у постели, стал с силой втыкать их в платье. При этом он изрыгал чудовищный мат и старался поразить сталью самые интимные точки. Ваня подскочил к кровати, ухватил платье за рукав и дернул к себе. Но в другой рукав уже вцепился князь Андрей, он тоже рванул платье, и оно лопнуло в воротах и в подмышках. Правый рукав оторвался и остался в руке Шуйского. Князь медленно сложил его вчетверо, поплевал на ткань и, глядя на Ваню с улыбкой, стал чистить носок сапога. Ваня выбежал в коридор.

Тут только что пронеслась толпа с факелами. Старший Шуйский, Василий Васильевич, спешил схватить князя Оболенского, фаворита покойной царицы. Воняло смоляной гарью и смрадом пьяной компании.



Ваня почувствовал ледяную корку на поверхности мозга, еле добрал до своей спальни, забылся в бреду на несколько недель. Это спасло ему жизнь...

Федор Смирной тоже вспоминал детство. И вот же чудо! – он тоже находился сейчас на площади перед вратами Успенского собора утром 3 февраля 1547 года!

Пятилетний Федя стоял между отцом и матерью в первом ряду обывателей. Если, конечно, считать рядом беспокойный край людской толпы. Такое видное место семейству московского жильца Михайлы Смирного досталось не случайно. Смирные здесь сразу встали, пока другие метались по площади то к раздаче вина, то к столам с караваем и сыром. Теперь только красная спина огромного стрельца загораживала Федору царский выход. Отец поджал соседей влево, и Федя оказался между двумя стражниками. Очень удобно!

Гул толпы усиливался, она волновалась, дышала в спину. Будто огромный зверь ждал чего-то у норы под каменной стеной и уже не мог сдерживать возбужденное дыхание. Вдруг соборные ворота, прикрытые от февральского сквозняка, ожили, шевельнулись, подались. Толпа взвыла. И тут же ударили все колокола Большой звонницы, замыкающей площадь.

Все – да не все! Это средние колокола да мелкие колокольчики заиграли – их усердно дергали молодые звонари. А главный московский колокол – «Благовестник», подвешенный ниже остальных, вступил, погодя несколько мгновений. Старый звонарь раскачивал его уже несколько минут, не доводя огромный язык до касания с красной тысячепудовой медью на пару вершков, и все равно ему понадобилось немало сил, чтобы поддать качания и ударить.

Бой «Благовестника» задал ритм действию. По первому удару отроки из охраны распахнули ворота во всю ширь, по второму – на порог вышел служка с иконой, по третьему – монах с крестом, по четвертому – митрополит Макарий с посохом Петра-чудотворца, а с пятого удара уже и пара молодых стояла перед народом. Толпа зашлась в крике и стала слышна через колокольную мелочь. Только «Благовестник» заглушал, будто выключал ее на мгновенье.

Несколько дней назад сквозь вечерний сон Федя услышал разговор отца и матери. Отец рассказывал о предстоящей царской свадьбе. Его голос то затухал, то звучал четко, – это мама ходила по горнице и перекрывала звук. Вот она спросила, кто будет невеста. Отец ответил, что покойного Романа Кошкина дочь. Мать прошла по комнате с блюдом пирожков, и Федя услышал только два последних слова: «Кошкина дочь!» Царь женится на кошке! Вот здорово! Вот чудо!

Чуда Федя давно дожидался. Как-то раз в воскресенье после церкви он прямо спросил отца: скоро ли будет чудо, о котором все время говорит приходской батюшка отец Серафим? Отец ответил, что скоро. Как только венчают молодого царя.

– А кто будет делать чудо? Царь?

– Царь.

И час настал. Царя венчали уже во второй раз. Первый раз – понарошку – на царство, сегодня – всерьез – на кошку Настю, и отец сказал, что больше венчать не будут. Значит, это последний случай для чуда. Федя стоял, раскрыв рот. Он ожидал увидеть у невесты маленькие треугольные ушки, полосатую мордочку и мягкие лапки.

И вот царь с молодой женой появился в воротах храма. Колокол ударил особенно страшно. Отец еще дома предупредил, что бояться нечего, и теперь Федя не жался к родителям, во все глаза смотрел на царскую пару. Ближе к Феде стоял царь, он загораживал царицу Настю. Ох и царь это был! Молодой, красивый, радостный, весь в золоте и камнях. Невеста выглянула из-за его плеча и тоже оказалась ничего, но как-то Феде не взволновала. Никакая это была не кошка. Федя сосредоточился на царе: теток красивых в Москве полно, а царь у нас один! И только он может совершить чудо.

Вот из-за спин молодых вышли красивые парни в желто-черных кафтанах с большими блюдами. Вот посаженные родители взяли что-то с блюд и взмахнули под удар «Благовестника». Дождь золотых искр посыпался в снег и на ковры, на ступени и расчищенную мостовую. Федя протянул к искрам руки, но ничего не поймал. Монеты еще прыгали по камню, а две другие руки уже брали с блюда золото. Царь и царская невеста тоже взмахнули под благовест. Толпа за спиной выдохнула, качнулась, но осталась на месте. Феде повлекло вперед, он ухватился за коричневую ручку стрелецкого бердыша, и в его правую раскрытую ладошку что-то тяжело

шлепнулось. Федя не успел посмотреть что. Отец подхватил его на руки, подался влево и назад, пропуская людей в хвост царской процессии.

Они еще постояли под стеной церкви Ризоположения, пока царь и царица поднимались к Красному крыльцу, потом погуляли немного, и только по дороге домой, когда мама сунула Феде медовый пряник-лошадку, он разжал пальцы. На ладони лежала золотая монета.

– Смотри-ка, сын царскую монету поймал!

– А может, невестину, – заспорила мать.

– Царскую! Царица левой рукой бросала, ее монеты налево ушли.

Вот вам и чудо!

Но монету отобрали у Феди с уговорами, спрятали до более взрослых времен, чтоб не потерял, не отняли мальчишки, не замылили вороватые взрослые. Федя понял утрату правильно – все-таки дорогая царская вещь.

Он только иногда, по праздникам или когда болел, просил родителей показать «чудо» и засыпал с монетой в кулаке.



Сегодня, в эту странную ночь самозаточения, ему снова было плохо. Здесь, в яме, хоть и на службе государю, но в неволе, когда милых родителей уже не было на белом свете, когда кромешная тьма обступала со всех сторон, Федя просунул руку за пазуху, нащупал рядом с нательным крестом тяжелый металлический кружок и сжал его в кулаке. Слезы как-то сами

покатились по щекам. Их только две и успело упасть – по одной из каждого глаза, когда глуховатый голос прошептал над крышкой ямы – то же, что и прошлым утром:

– Чей ты, человек Божий?

Теперь, в отличие от утра, Федор знал, что ответить:

– Божий и есть. Божий и предстоятеля Божьего.

Возможно, кому-то другому потребовалось бы разъяснение, что за предстоятель такой. Но человек наверху не переспросил, видно, понял по-своему. Помолчал немного, потом поворочал под нос и сказал как бы сам себе:

– Нет, за сегодня не успеем.

Потом спросил у ямы:

– Как думаешь, еще день и ночь просидишь?

Федя ответил горячо, используя слезы, накатившие в память о родителях:

– Осталась только эта ночь до утра, добрый господин, потом два дня и две ночи, а уж в воскресенье утром мне на Болото велено собираться! – и Федя жалобно заскулил.

– Не тужи, – прохрипело сверху, – время есть. Посмотрим, какой ты Божий. Божьего человека Бог в обиду не даст. Сиди с миром.

Голос смолк, прошаркали мягкие, без каблуков сапожки татарской выделки, и в наступившей тишине снова стало слышно, как похрапывает кот Истома.

* * *

Это сейчас воры предпочитают промышлять ночью. Темно, ничего не видно, можно неуловимой тенью скользнуть в интересное место, незаметно прилипнуть к деньгам, товарам, ящику водки, куску колбасы. А в то время еще неизвестно, как легче было с воровской целью пробираться. Днем улицы Москвы немногочисленны, но прохожие есть, причем всякие. Можно затеряться, если ты не вырядился петухом. Днем и собаки спят по будкам, бдительность не очень проявляют: на каждого не нагавкаешься – лишь бы во двор не лезли!

Другое дело – ночь. В Москве, особенно на окраинах, жизнь умирает до рассвета. Любой прохожий – чрезвычайный объект. Это или тать (домушник, базарный щипач), или вор (государственный преступник), или опасный гуляка с ножом за голенищем.

Ночью московские собаки не спят. Они чутко нюхают воздух, внимательно следят за рамкой ворот, за кромкой забора, подсвеченной звездами и луной. Собаки настороженно прислушиваются к дыханию улицы, шороху кустов и деревьев, голосу своих собратьев на пространстве околотка. Слух ночных сторожей вылавливает чужеродные звуки из шумов природной обстановки. Даже среди бури собака различает скрип калитки, хруст сучка, треск заборной доски. А уж в тихую погоду ни одна сова не остается незамеченной в ночном полете, ни один камешек – в подкаблучном шорохе.

Страшнее сторожевой, цепной или отвязанной на ночь собаки другой, чисто русский зверь – мишка косолапый. Он тоже встречается на службе в обеспеченных домах. Его тоже отпускают на ночь. И тут уж берегись! Мишка не лает, не визжит от страха, не берет ночного вора на понт горловым воем. Он наваливается из подворотни черной глыбой, и ты успеваешь услышать только тяжкий храп, сопение зверя и хруст собственных ребер. Молись скорей! Неприлично предстать перед Господом без покаяния!

Не спят ночью и многие ночные сторожа. Есть, конечно, среди них халтурщики, увольняемые без выходного пособия, – прямиком в солдатские полки или кабальную запись, но в целом московский сторожевой корпус службу несет удовлетворительно. Собакам и медведям в их труде это большое подспорье, особенно в трезвые ночи, не после праздников.

Московские улицы замкнуты околоточной стражей кое-как, но мосты, городские ворота, заставы охраняются крепко. Просто так, то есть бесплатно, не пройдешь. А платить – свиде-

телей плодить, себе дороже. Так что ночью пробираться по Москве у нас дураков нет, особенно если можно переждать до утра. Но переждать тоже нужно не где придется. Под мостами опасно, там воровские гнезда, бродячие шайки, банды, стаи больных и убогих. В кустах, под заборами тоже можно напороться на посторонних.

Ночной гость кремлевской звонницы поступил разумно. Он как спустился из расселины в стене на Боровицком углу, так сразу и залез на ясень. Поднялся повыше, осмотрел дерево «изнутри» – чисто. Устроился поудобнее – с видом на Кремль и «живой мост», связанный из больших лодок. Видно, этому человеку очень нужно было на ту сторону реки.

Солнце взошло скоро. Июнь – месяц коротких ночей. В четыре утра посерело на востоке, в пять стало совсем светло, а в шесть начался обычный рабочий день. Пятница. 14 июня.

Заскрипели телеги с базарным товаром, по мосту пошло движение, окрестности Кремля стали наполняться народом. Сюда, в центр столицы, потянулись торговцы. Здесь и в те времена происходил самый оживленный товарооборот, тут крутились основные деньги нашей родины. Поньше Красная площадь втягивает их безвыходной воронкой и не выпускает обратно. Прижимиста мать наша! На сторону инвестирует со скрипом.

Остаться на дереве стало неприлично. Человек, соскакивающий с ясеня у правительственной резиденции, мог не понравиться бдительным москвичам, тем более в военное время, когда рыночные разговоры наполнены польскими, литовскими, крымскими страхами в добавку к повседневным церковно-славянским ужасам. Пришлось человеку очень долго озираться, всматриваться в округу, разглядывать каждый пригорок, каждый кустик – не зашевелится ли где?

Нет. Ничего не видать. Все спокойно. Человек осторожно соскользнул по шершавому стволу и присел отдохнуть за кустами. Еще с полчаса наслаждался пейзажами утренней Москвы-реки, скромным судоходством – в основном весельным и одномачтовым парусным, неплохими видами окрестной природы. Наконец поток обывателей на мосту достиг желаемой плотности, и человек спокойно проследовал к реке, беспрепятственно протолкнулся меж встречных пешеходов и скрылся в узких кривых улочках Замоскворечья, лишь кое-где мощенных сосновым тесом. Толку от этого мощения в июньскую жару мало, только грохот деревянного тротуара разносится на всю улицу – даже от осторожных шагов мягкой, бескаблучной обуви.

Наш ночной наблюдатель проследовал по пыльной, немощеной середине улицы, вид у него был умиротворенный, расслабленный, и неопытный глаз мог принять его за удачно расторговавшегося коробейника. Правда, ни коробка, ни сумы у него не было. Но вдруг он сдал товар оптом? – с упаковкой, так сказать? И возвращается теперь налегке в родное Подмосковье? Может быть, может быть. Только вы скажите это своей тете, а не Ваньке Глухову – другу всех собак во всех московских подворотнях.

Ванька тоже шел вразвалку. Он еще больше походил на коробейника, потому что коробто у него имелся, и не пустой. Видно, не совсем расторговался наш Ваня в этот ранний час. Кое-что в его коробушке болталось. Так, ерунда: английский дуствольный пистолет с кремневым боем, кинжал арабской работы да мешочек со свинцовой дробью, годной для зарядки стволов и для тихого удара в висок. Еще там находился запас пороха, коврига черного хлеба, пара малосольных огурцов, кусок вяленой свинины с заметной мясной прорезью, пара крутых яиц. В углах коробки можно было наскрести щепотку соли, рассыпанной в прошлую засаду. При быстрой ходьбе в коробе перекачивалась глиняная бутылка кваса, а более серьезных напитков подъячий Поместного приказа Иван Глухов на службе не принимал. Тем не менее настроение у Глухова было прекрасное, под стать погоде и содержимому короба.

Глухов шел не один. Два его парня, Волчок и Никита, бежали соседними улицами, поочередно выходя в переулки по пути объекта. Они появлялись друг у друга на виду и подавали условные сигналы о положении цели. Так что, когда ночной герой добрался до места, он был

наблюдаем с трех сторон: справа и слева вдоль улицы и в спину – с тропинки, вьющейся между заборами. Эту тропинку можно было считать переулком, не будь она так узка и кривобока.

Незнакомец несколько раз ударил ногой в сплошной тесовый забор, отчего там зарычало, но тут же смолкло какое-то мощное животное, зашиканное невидимым дворовым человеком. Получается, гостя ждали. Кто-то караулил во дворе. В тесовой стене приоткрылась калитка, и гость проскользнул внутрь.

К этому времени Иван Глухов уже сидел на дереве и наблюдал содержимое подворья. Ничего тут особенного не было. Захламленный двор, чахлый сад, просторный забурьяненный огород, пустые сараи. Скотины не чувствовалось, по крайней мере, через улицу хлевом не шибало. Народу – никого. Или спят, или по городу ходят. Обычный двор черного, едва свободного народа, но пустой, брошенный. Изба косая, крытая гнилым тесом, помнит лучшие времена. Прорехи в крыше прикрыты соломой. Ничего примечательного, противно смотреть.

Однако что-то привлекло Ивана, и он сказал «угу!». Это означало удачное умозаключение. Типа «эврики», но солиднее, спокойнее, увереннее.

Открытие касалось пустяка – сенных ступенек. Их выскоблили до белой древесины. При общем запустении двора избу недавно приводили в жилое состояние.

И вот еще. Солнце уже светило, но в комнате, смотревшей окнами на Ивана и, соответственно, на север, было сумрачно. Оконная рама с растрескавшейся слюдой оставалась открытой с ночи, и Иван видел под окном стол, на котором собирались рассматривать бумаги. Иначе зачем там вспыхнула свеча деньги эдак в четыре?! В ее свете мелькали три силуэта, среди которых легко угадывался гость. Второй темный контур на месте не сидел: то исчезал, то снова появлялся в рамке окна. Похоже, подавал на стол. «Дворовой холоп», – заключил Иван.

Третья тень восседала недвижимо. Это был самый «тяжелый» силуэт. В его позе сквозила привычка к неторопливости. Правда, когда он поворачивал голову в полупрофиль, свеча прорисовывала тонкий подбородок с волнистой бородой, длинный орлиный нос, измученное лицо, поджатые губы, выпирающие скулы и височные кости. «Бывший толстяк», – определил «Тяжелого» Иван.

За столом велась беседа. Губы шевелились, но Иван не умел читать по губам, поэтому посвятил свои усилия художественному промыслу. Достал со дна коробки древесный уголек и стал набрасывать на внутренней стороне крышки «Портрет Бывшего Толстого Незнакомца». Уголек раскрошился после нескольких извилистых линий, но профиль был схвачен удачно. Полутона художник продолжил накладывать пальцем, растирая угольные крошки. Получалось неплохо. Ивану нравилось.

Тут натура дернулась, несколько раз рубанула воздух рукой, выпила из кружки и пожала плечами, как бы извиняясь. Гость вскочил, поклонился на четверть – достаточно определенно, чтобы Иван понял: «Ночной» «Тяжелому» не в версту. Чинов на десяток меньше!

Дальше все закрутилось быстро. «Ночной» выскочил из дома, покинул двор, резво пошел по улице в сторону окраин. Глуховские ребята повели его вприпрыжку. Иван еще с час сидел на дереве, но в окне стало темно, «Тяжелый» больше не показывался. Подворье замерло и казалось нежилым. Только однажды невзрачный серый мужичок выскочил во двор, пробежал к сараю, выволок оттуда вопящую курицу и ловко отхватил ей голову прямо на весу, посреди двора. Голова отскочила и к досаде мужика досталась здоровенному цепному волкодаву. «Самое ценное, что тут есть», – подумал о собаке Иван. Мужик вернулся в сени, опять выбежал, стал ощипывать курицу в уголке под забором и делал это очень неумело.

«Ножичком у нас лучше получается! – улыбнулся Иван и добавил: – А баб тут нету».

Мужик вскоре убрался с ободранной курицей, из трубы повалил дым, хотя по летней погоде полагалось стряпать в надворной печи. Но была ли она во дворе, Ивану разбираться уже не хотелось. Он выбрал момент, соскользнул с дерева и ушел по тропинке-переулку.

* * *

В наше время сведения Глухова протоколировались бы до вечера, потом еще от недели до месяца собирались и проверялись улики, достаточные для суда. Весь этот месяц замоскворецкие халупы «Тяжелого» и «Ночного» наблюдались бы сменными топтунами, наружкой, филерами.

А тогда – нет! Тогда – раз, и готово! Некогда было му-му водить. Очень страшно было!

Поэтому через час вдоль помеченного Глуховым тесового забора бежал, задыхаясь, сотник Штрекенхорн с пистолетом в одной руке и бердышом в другой.

Следом вполне поспевали два десятка русских ребят в красных кафтанах и несколько кожаных немцев с алебардами и пищалями. В соседних улицах тоже стояли караулы, поэтому бежать обитателям странного дома не получалось. Стрельцы не стали вызывать к их благоразумию, врать о явке с повинной, о смягчении вины. Они просто высадили калитку, зарубили на всякий случай волкодава, разнесли входную дверь и очень жестко положили на пол «Тяжелого» и щуплого «Дворового».

Никто и не убоялся, что арестанты могут «иметь лапу в Кремле» или у них много денег. Худенькому разбили морду о лавку, «Тяжелого» тоже неаккуратно завалили. Но он молчал, только рычал с досады.

«Тяжелому» было на что досадовать. Его портрет работы молодого московского художника Ивана Глухова уже был предъявлен царю Ивану, вызвал смертельную бледность, обморок и крики по возвращении из небытия: «Взять! Взять! Взять!!!»

Фамилия «Тяжелого» стала известна из уст очнувшегося государя: «Тучков!» Тучкову надели на голову мучной мешок, посадили в крытый возок и оттарабанили с максимальной возможной скоростью в кремлевские казематы.

Аналогичная участь постигла «Дворового», ночного собеседника Феди Смирного и дюжину душ с гостиного подворья, где квартировал «Ночной». Этим, правда, мешков не надевали и транспорта не подавали. Их связали толстенной веревкой и проволокли через реку, как карасей на кукане.

Остаток дня с полудня до глубокой ночи был посвящен предварительному следствию. Для этого очистили от караульной сотни просторную полуподвальную камору – черную гридницу. Стрельцы господ Истомина и Штрекенхорна перешли в светлую и чистую белую гридницу, где жалованный мед можно было оценивать не только на вкус, но и на цвет.

Очаг, освобожденный от стрелецких сапог, ярко пылал. В нем уже и железо кой-какое краснело. Помещения в углах каморы – совсем маленькие кельи – были набиты арестантами. Боярин Тучков, ночной посетитель Кремля и дворовой из «пустого дома» содержались поодиночке. Задержанные мужики с постоялого двора сидели скопом.

И еще одна чистенькая, маленькая клетушка с крошечной дверцей в главную камору была занята в эти дни и ночи. Здесь теперь находились два постоянных жильца и временами появлялись два проходящих. Постоянных звали Федор Смирной и кот Истома. Приходили по делу младший подьячий Прохор и средний подьячий Иван Глухов. Они чутко вслушивались в допросы, которые вел благообразный мужчина солидных лет, всматривались через щель в лица испытуемых.

Сначала был произведен предварительный (без пытки) опрос задержанных, который в счет не шел: все понимали, что без боли и страха русский человек правду сказать не в силах.

Получалось, что люди с постоялого двора вообще не при делах, «Ночного» видеть видели, но как звать, не знают. Не разговаривали. Он к себе никого не приводил, сам весь день пропадал в городе. Дознаватель, стряпчий Разбойной избы Василий Филимонов, слушал эти рассказы спокойно и добродушно. Он имел огромный опыт сыскной работы и понимал

собеседника с полуслова. Сейчас он готов был верить мужикам из общей камеры. Они бледно выглядели в отблесках «пытошных снарядов», дрожали голосами и телом. То есть пытка как бы шла сама собой. Филимонов знал цену мучениям телесным и мукам душевным. «Можно верить», – отметил про себя.

Холоп из «пустого дома» вел себя почти так же. Озирался на раскаленные щипцы и кочережки, бледнел, отвечал с готовностью. По его словам выходило, что он, обедневший мещанин Иван Петрищев, присмотрел выморочное подворье, договорился со старшиной улицы о выкупе, но денег не хватало, так он пустил постояльца. Имени не спросил по простоте, деньги за постой получил, хотел сегодня нести старшине, но вот... Помилуйте, господин, невинную душу...

Слезы у мужика получились натуральные, и Филимонов кивнул добродушно. Этот кивок, почти такой же, как на прошлом допросе, почему-то привел в движение темного человека в углу каморы. Здоровенный парень шагнул из тени за спину подозреваемому и без разговоров рубанул с плеча тонким кнутом с железным наконечником...

Русский кнут – это, по сути, мягкая сабля. Если он снабжен наконечником, то рассекает кожу и мясо до кости, но убивает не сразу – еще можно что-то выспросить у посеченного. Несколько десятков ударов кнутом превращают человека в котлету по-киевски: кости внутри целы, вокруг – фарш, схваченный запекшейся шкуркой.

Сейчас палач ударил только один раз.

Мужик упал, захлебнулся криком, замер, часто дыша.

– Ты, брат, не ври мне, – склонился над ним Филимонов, – вот же у тебя крест золотой. Два золотника, поди, или три? На него три таких дома купить можно.

– Я не жид крест продавать, – простонал мужик, – лучше себе возьми...

– Да я не об этом. Просто ты не так беден, как говоришь. Вот что плохо. Ты бы мне не врал, ни к чему это.

В голосе Филимонова звучала забота и совсем не было злобы. От этого становилось по-настоящему жутко.

Палач тем временем отошел к очагу, вернулся и осветил лицо преступника красным огнем.

– Скажи, кто ты, – снова наклонился над страдальцем Филимонов, – я все равно узнаю. Скажешь – больше пытать не буду, запишу, что признался с третьей пытки.

«Третья пытка» – обычно с применением горячего железа – считалась окончательной, а полученная на ней информация – вполне достоверной. Человек, прошедший три пытки, например, кнутом, дыбой и огнем, не обязательно приговаривался к смерти или другому наказанию. Здесь главным было дознание. Пытать могли и заведомо невинного свидетеля, а потом отпустить с извинением. Неофициальным, конечно.

Испытуемый молчал в раздумьях. Полуприкрытые глаза бегали. Филимонов решил помочь:

– Значит, ты – бывшего боярина Тучкова...

– Ловчий и печатник Гаврила Шубин.

– Ну вот, сразу бы и сказал, а то – Иван, Петрищев. И не стыдно тебе, ловчому, мещанином называться?.. Зачем в Москву пожаловал? Твоему хозяину лучше бы в лесах обитать, тут его за покойника уже лет двадцать держат.

– Он и жил в лесах, в Литве, под Смоленском, в Киеве.

– И что ж не жилось?

– Дело в Москве появилось. Какое, не знаю.

– Печатник, а не знаешь? Или ты к письмам только печати прикладывать горазд? Читать-то учен?

– Учен, но, видит Бог, переписки не читал. Больно осторожен господин.

Шубина отложили на потом и занялись «Ночным».

Этот человек был тертый калач, рваный волк. Рваным было его ухо, тертыми – сапоги. Напряженное сухощавое лицо, покрытое потемневшей кожей, обозначало свирепую непреклонность.

Филимонов решил, что с этим господином нужно быть настороже.

Против ожидания пленник сразу встал на путь сотрудничества со следствием, что еще больше насторожило Филимонова. Задержанный назвался Борисом Головиным, бывшим новгородским стражником, признал, что нанят на службу Тучковым, с которым имел дела при его многочисленных проездах через Новгород. Работа простая – обеспечивать путешествия хозяина, снабжать лошадьми, дорожными припасами, производить путевую разведку. Охранять. В Москве Головин успел сделать только три дела:

1) собрал под мостами шестерку ребят и привел их к боярину на беседу (подробностей не знает);

2) пригнал в среду утром к «пустому дому» крытую телегу с холщовым верхом;

3) сходил минувшей ночью в Кремль, где боярский человек Гаврила видел яму с неизвестным вором. Нужно было узнать, чей он есть.

Все.

Филимонов отправил Головина в камеру без пытки и стал готовиться к допросу главного государева врага Тучкова. Сходил пообедать, отдохнул, обошел прочих заключенных, осмотрел их весело и спокойно. Отпустил до вечера палача Егора: Тучков был человек в глубоких летах, мог помереть со страху. Филимонов планировал для начала поговорить с ним по-своему. Как старый москвич со старым москвичом. Но вышло наперекосяк.

Тучков вышел из камеры, сел к столу. На Филимонова смотрел исподлобья, но без высокомерия и злобы. Нормальное начало. Но не успел стряпчий вопроса задать: как вам, сударь, Москва после стольких лет? – дверь в помещение распахнулась, вошли стреленные стрельцы, с ними вбежал здоровяк с трясущимся лицом – Филимонов не сразу узнал царя Ивана. Царь выхватил у кого-то бердыш и что было силы въехал торцом держака Тучкову в рот. Боярин поперхнулся брызнувшими зубами и рухнул навзничь.

– Не хрен с ним разговаривать! – рявкнул царь. – Он только врать да материться может. Нечего его слушать! Он скверну сеет! Язык поганый долой!!!

Грозный забился в судорогах, снес бердышом со стола чернильницу, отбросил оружие и подскочил к распростертому Тучкову.

– Вот посмотрим теперь, кто здесь сука, – сказал он как-то по-воровски, – и кто здесь польский лазутчик!

Тучков в ответ зашевелил рассеченными беззвучными губами. Казалось, они с Иваном продолжили какую-то давнюю беседу, спор по принципиальным вопросам.

Грозный ушел, тоскливо подвывая, Тучкова уволокли в келью. Филимонов вышел на воздух, и тут же к нему подбежал запыхавшийся Егор с подручным отроком.

– Слыхал, Ермилыч, – прошептал он Филимонову, – язык ему понадобился. Ты уж иди, мы сами тут... И попроси коробку соли из поварни прислать...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.